



## А. ДЖИВЕЛЕГОВ

### Никколо Макиавелли

...Doloroso Machiavelli  
Maturava il pio desir...

*G. Carducci*

...Чистую вынашивал мечту  
Макиавелли скорбный...

*Дж. Кардуччи*

#### I

Едва ли случайно, что мы не знаем буквально ничего о молодости Макиавелли. В 1498 году, двадцатидевятилетним зрелым человеком, поступил он на службу республики. До этого он ничего не писал. До этого он нигде не выступал. И до такой степени сразу в своих служебных донесениях и в неслужебных писаниях он обретает манеру обстоятельного чиновника и язык опытного литератора, что начинает казаться, будто ничем другим в жизни он так и не был. А молодым вообще не был никогда. Представить себе Макиавелли юным, с гибким телом, со свежими красками на лице, с искрящимися глазами, с беззаботным смехом, всегда готовым на любую сумасбродную проделку, — необыкновенно трудно. Его единственный, по-видимому не фантастический, портрет\* показывает его совсем другим.

Бюст костлявого, чуть сгорбленного человека. Лицо худое. Плохо выбритые, впалые щеки. Утомленные глаза сидят глубоко-

---

\* Приложен к изданию «Discoral» 1540 г., воспроизведен при собрании сочинений 1550 г. («La Testina»).

ко, смотрят рассеянно и беспокойно, но в них много затаенной думы, и они способны загораться порывами решимости и энергии. Много думы и под высоким морщинистым лбом, лысеющим спереди залысами. Рот большой, окружен бесчисленными складками, в которых прячутся большие и малые душевные боли, тоска, разочарование. Губы чувственные; если на них заиграет улыбка, она будет насмешливая, недоверчивая, злая, циничная, едва ли часто добродушная. Нос — длинный, крючковатый, с тонким висящим концом. Голова мыслителя и человека дела, невеселого эпикурейца, Мефистофеля в миноре. На гравюре нет красок, и так становится жалко, что лицо одного из величайших людей Италии и Европы не увековечила кисть большого мастера: сколько их было кругом него во все моменты его жизни!

Каков был Макиавелли в пожилые годы, таков должен был быть и в молодости. Знакомясь с его жизнью и с его произведениями, особенно с самыми интимными, с его замечательными письмами, нельзя отделаться от одного впечатления. На протяжении тридцати лет, что мы его знаем, всегда, при всех обстоятельствах — в делах, в творчестве, в развлечениях, в моменты серьезные и радостные, — сидело в нем что-то больное, не растворяющийся ни при каких условиях осадок горечи. Откуда он?

Момент поступления на службу делит жизнь Макиавелли на две почти равные половины. Вторая известна нам хорошо. Первую мы не знаем совсем, а знаем только то, что служило ей фоном. Бурные были времена, и в то же время самые блестящие в истории его родного города. В 1478 году, девятилетним мальчуганом, Никколо видел, как обезумевший народ гонялся по улицам за членами семьи Пацци и их сторонниками<sup>1</sup>, как висели в окнах Дворца Синьории архиепископ Сальвиати в лиловой рясе, Франческо Пацци совсем голый, с окровавленной ногою и трое Якопо: два Сальвиати, родственники архиепископа, и одни Браччолини, сын Поджо. Четвертый Якопо, Пацци, повешенный тоже спустя два дня и похороненный в Санта Кроче, был удален из церкви и закопан где-то под стенами. Его вырыли из второй могилы, и мальчишки, захлестнув труп за шею веревкою, волокли его по городу, подтащили к собственному его дому, громко крича, чтобы отворили хозяину. Потом бросили в Арно. Маленький Никколо если и не был свидетелем всего этого, то не мог не слышать разговоров. Порукою необыкновенная даже в «Истории Флоренции» пластичность рассказа о заговоре Пацци.

Подрастая, Никколо наблюдал режим Лоренцо, необыкновенный блеск культуры и быта: празднества, турниры, процессии, карнавальные шествия с мифологическими фигурами, в устройстве которых соперничали Сандро Боттичелли и Пьеро ди Козимо. Он ходил смотреть в Санта Мариа Новелла только что открытые, сверкавшие свежими красками фрески Гирландайо и слушал около них разговоры о том, как похожи изображенные художником Анджело Полициано, Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино<sup>2</sup>. Наблюдательность понемногу становилась острее, и он начинал понимать, что под этим блеском уже кое-где проступают признаки упадка, что торговля и промышленность больше не поднимаются, а идут к уклону, что тирания Лоренцо жестче, чем тирания его деда, что республика крепко зажата в кулак, а свобода существует только в льстивых панегириках, расточаемых Лоренцо гуманистами. И чем лучше понимал это Никколо, тем меньше нравились ему пышные процессии и тем меньше хотелось ему веселиться под звуки карнавальных песен.

Ему было двадцать три года, когда смерть Лоренцо резко покончила с этим обманчивым покоем. При Пьеро Медичи флорентийская тирания, поглупевшая и обнаглевшая, стала быстро катиться к пропасти. Не успело успокоиться ликование, вызванное падением Пьеро, как в город явились французы. Диалог между Карлом VIII и Пьеро Каппони: «Я прикажу ударить в барабаны». — «А мы ударим в колокола», — короткий, как звон скрестившихся клинков, заставил город целые дни трепетать от тревоги и ярости. Но король испугался, и французские барабаны вместо атаки забили отступление. Никколо переживал со всеми эту встряску. И все думал.

Потом пришло царство монаха. Революционные пророчества гремели под куполом Брунеллеско. Конституция переделывалась по указаниям библейских текстов и благочестивых видений. Очистительные костры зловецким заревом освещали городские площади. Вериги и власяница истязали под нарядами тела женщин. Савонарола попал в круг зрения Никколо, когда его дела решительно пошли хуже. И не покорило его, как других. Никколо ни на одну минуту не был увлечен бурным, экстатическим красноречием его проповедей и был даже непрочь смотреть на него как на вульгарного обманщика\*. Он не мог не ви-

\* *Lettere familiari di N. Machiavelli / pubblicate per cura di Ed. Alvisi (ed. integra). 1883.* Письмо 3. Цифра впрямь всегда будет означать порядковый номер письма в сборнике Альвизи.

деть костра, на котором сгорел неистовый пророк, и если стоял не очень далеко, видел и то, как сверху «падал дождь из крови и внутренностей». Когда бросили в Арно прах Савонаролы, Никколо поступил на службу к республике, спешно секуляризовавшейся под успокоенные благословения папы Александра VI.

Поводов для размышления было достаточно, а голова — хорошая. Не хватало только настоящей подготовки. В семье не было избытка, и образование Никколо получил самое суммарное. Греческого он, по-видимому, все-таки не знал\*, а в латинском не мог угнаться за матерыми гуманистами. На юридическом факультете перенесенного во Флоренцию Пизанского Студии, где учился Гвиччардини, ему побывать не пришлось. Он не имел даже нотариального стажа. Его учитель друг Адриани носил классическое имя — Марчелло Вирджилио, но совсем не был для него тем, чем для Данте его Вергилий. Он слегка учил его латыни и помог потом устроиться на службу.

Настоящею школою Никколо была флорентийская улица, этот удивительный организм, где формировалось столько больших умов. Дома он читал древних и Данте. Бродя по улице, получал среднее и высшее образование. И проходил курс политики. Ибо в Италии, а значит и во всем мире, не было города, где политику можно было бы изучать с большим успехом. У венецианцев опыта и умения политически рассуждать было, конечно, не меньше. Но в Венеции политика была уделом немногих: для большинства она находилась под строжайшим запретом. Во Флоренции политиками были все. Только там можно было видеть на улице живые хранилища политического опыта, важные фигуры в разноцветных кафтанах и плащах, в капюшонах с длинными концами, обвивавшими шею и перекинутыми через плечо, носителей самых громких имен славного республиканского прошлого, модели Беноццо, Гирландайо, Филиппино. Они любили стоять на площадях перед большими церквями, торжественные, с серьезными, неулыбающимися лицами, со стиснутыми губами, которые словно боялись разомкнуться, чтобы не выдать тайну, с тихой скупой речью. Не всегда во Флоренции политический опыт накапливался в спокойной обстановке, иногда его приходилось усваивать под звон мечей, под грохот разрушаемых зданий, под жуткое гудение набата, в дыму пожаров: среди заговоров и революций. А в мирное время политика сплеталась с весельем, ей вторили карнавальные

---

\* Хотя много потрачено ученого остроумия для доказательства противного.

песни и хороводные припевы. Политика пропитывала все. Макиавелли ею опьянялся.

И все-таки капля горечи отравляла его дух уже в молодости. Происхождение и способности открывали ему дорогу к широкой политической карьере: не было нужных связей. Для преуспевания в обществе он обладал всеми данными: не хватало средств. Успеху у женщин мешала несчастная наружность. А когда наконец удалось устроиться — поздно, в двадцать девять лет, — место было отнюдь не блестящее: наиболее доходные доставались по традиции людям с хорошим гуманистическим стажем. В канцеляриях Дворца Синьории на лучших постах корпело над бумагами сколько угодно таких надутых, бездарных гуманистических павлинов. Никколо был принят в канцелярию Синьории — канцлером на месте Салютати, Бруни и Поджо сидел его учитель Адриани — и откомандирован в качестве секретаря в Коллегию Десяти, ведавшую иностранными и военными делами. Должность хлопотливая, утомительная, требовавшая огромной работоспособности, быстрого, точного, красивого пера и совершенно исключительной физической неутомимости. А вдобавок не давала ни достаточной самостоятельности, ни хорошего дохода, ни надежды выдвинуться. Где Никколо сел в 1498 году, после аутодафе Савонаролы, там и прижала его в 1512 медичейская реставрация. Когда новые хозяева Флоренции прогнали его с места, он ни деньгами, ни положением не был богаче, чем четырнадцатью годами раньше. А горечи накопилось много.

У секретаря Коллегии Десяти были обязанности двух родов: он управлял канцелярией Коллегии и должен был исполнять дипломатические миссии, которые почему-либо считалось неудобным поручать аккредитованному послу, «оратору» республики. Никколо не имел полномочий вести переговоры и решать вопросы\*. Он должен был добиваться приема, разговаривать, убеждать, собирать сведения и о результатах доносить Десяти или самой Синьории. За четырнадцать лет таких поездок набралось около двух десятков. Никколо их не любил и должен был сильно морщиться, когда получал очередной наказ. Все они начинались более или менее одинаково. «*Niccolò tu anderai infino a...*» Или: «*Niccolò, tu cavalcherai in poste a...*» Или: «*Niccolò, tu cavalcherai in ogni celerita a trovare...*» «Ты отправишься...», «Ты поедешь на почтовых...», «Ты поскачешь как

---

\* За исключением разве наименее ответственных миссий, вроде пьомбинской.

можно скорее...», «Ты поедешь!», «Ты поскачешь!» — слова, которые, казалось, подчеркивали, что он человек маленький и подневольный. Денег при этом отпускали ему в обрез, так что частенько приходилось приплачивать из собственного кармана, надоедать сослуживцам просьбами о присылке денег и обременять дипломатические донесения аналогичными постскриптумами. Купцы, правившие республикой, не любили раскошелиться без крайней нужды. Между тем у Никколо расходы росли. Он женился, пошли дети. Требования представительства становились больше. И хотелось не так скупно тратить на жизнь и на удовольствия: ибо Никколо — мы увидим — не был ни стоиком, ни аскетом. Средств решительно не хватало. Накопление опыта и коллекционирование политических наблюдений было единственной радостью, какую давала служба. А годы шли. Волос на голове становилось меньше, прибавлялись морщины на лбу, складки вокруг рта и горечь внутри.

В 1512 году разразилась катастрофа: сначала лишение службы, потом привлечение по делу о заговоре против Медичи, тюрьма, пытка веревкою. Потом — чистилище после ада — долгое прозябание в деревне, бесплодные попытки устроиться вновь и ощущение бесповоротно разбитой жизни. Ибо в глазах самого Макиавелли создание гениальных произведений было ничто по сравнению с тем, что ему не удалось вновь и по-настоящему выбиться на дорогу.

Горечи стало так много, что она превратилась в мрачный пессимизм.

Один из приятелей писал ему однажды: «Если бы я знал, куда обратиться с такой молитвою, я бы просил, чтобы скорее все беды этого мира свалились мне на голову, чем та, моровой язвы подобная, отвратительная, гнилая (*pestiferissimo e dispiatissimo et putrefato*) болезнь, которая зовется меланхолией и которая, я знаю, гнетет одного любимейшего нашего друга. Да избавит его от нее природа» \*.

Макиавелли это отлично чувствовал и знал, что от такой болезни нет лекарства. В одном из писем к Веттори \*\*, пересыпанном шутками, он вспомнил стихи Петрарки:

Però se alcuna volta io rido o canto,  
Follo perche non ho se non quest'una  
Via, da sfogare il mio angoscioso pianto.

\* Lett. fam. 88, от Филлипо Казавеккиа, о котором будет речь ниже.

\*\* Lett. fam. 122.

И если иногда смеюсь я иль пою,  
То потому, что мне лишь этот путь остался,  
Чтоб горькую слезу не показать свою\*.

## II

Однажды, когда Макиавелли, находившемуся в командировке, грозила некая неприятность, Биаджо Бонаккорси, его приятель, служивший у него в канцелярии, в взволнованном письме сообщал ему обстоятельства дела и, рассказывая, как он старался ликвидировать инцидент, писал: «У вас так мало людей, которые хотели бы прийти к нам на помощь; я не знаю почему»\*\*.

Простодушный Биаджо поставил вопрос, который и сейчас еще не перестает интересовать всякого, кого интересует судьба Макиавелли. Действительно, почему никогда не имел Никколо настоящего друга, который готов бы был не то что чем-нибудь для него пожертвовать, а просто сделать для него что-то требующее серьезных усилий?

Такие, как сам Биаджо или их общие приятели, Бартоломео Руффини и Агостино Веспуччи, конечно не в счет. Их связывали с Никколо канцелярия, интересы общей службы, зависимость от него, и близость их характеризуется больше непристойностями, которыми полна их переписка, чем настоящими душевными отношениями\*\*\*. Он знал, что это — великие дру-

---

\* Последний терцет сонета Петрарки 70—81, причем третий стих цитирован неточно. У Петрарки — не *sfogare* — облегчить, а *celare* — скрыть. Впрочем, и слово *sfogare*, которое Стендаль находил таким многомысленным и удивительным, стоит тут же, в восьмой строке сонета. Стендаль превосходно чувствовал горечь, пропитывавшую все существо Макиавелли. Про «Мандрагору» он говорил, что она была бы превосходной комедией, если бы автор ее был более веселым человеком («*Histoire de la peinture en Italie*»<sup>3</sup>. 1868. Vol. II).

\*\* Lett. fam. 106, 27 декабря 1509.

\*\*\* Никколо несколько не смущали в письмах Биаджо ласковые *sazo v'in culo* по его адресу или сердитые *li venga il casasangue nel forame*<sup>4</sup>, сопровождавшие рассказ о товарище, из-за которого канцелярия получила разнос от Синьории, или подробные донесения ему о том, какие опустошения производит среди общих знакомых французская болезнь. Никколо отвечал своим «страдаютам», по видимому, тем же. Руффини пишет ему (Lett. fam. 29): «Ваши письма к Биаджо и к другим доставили всем огромное удоволь-

зья на малые услуги, и не обольщал себя. После катастрофы 1512 года они, как тараканы, расползлись во все стороны, забили каждый в свою щель и бесследно исчезли. И именно теперь, когда для Никколо дружеская поддержка была по-настоящему вопросом существования, вокруг него образовалась пустота. Остался один Франческо Веттори, его товарищ по миссии в Германию, в это время «оратор» Флоренции при курии Льва X<sup>5</sup>. Он два года поддерживал с ним переписку, все кормил его обещаниями, но, имея все возможности, пальцем о палец не ударил, чтобы ему помочь. В конце 1517 года Никколо получил доступ в общество садов Ручеллаи. Молодежь образовала там вокруг больного Козимино Ручеллаи нечто вроде вольной академии<sup>6</sup>. Кто-то привел Никколо, и он очень скоро сделался душою кружка, потому что никто не умел лучше него поддерживать живую и содержательную беседу. Молодежь была богатая и знатная, с большими связями: Дзаноби Буондельмонти, Филиппо деи Нерли, поэт Луиджи Аламани, его тезка — кузен, философ Якопо Диачето, Баттиста делла Палла. Козимино был родственник Медичи, Филиппо — близкий им человек. Пока в 1522 году дело о новом заговоре не разбило кружка, члены его очень помогли Никколо. Именно они, по видимому, выхлопотали ему заказ на «Историю Флоренции». Но их отношение к Никколо была не дружба, а почитание учениками учителя.

Около этого же времени Макиавелли сошелся с человеком очень крупным, родным ему по духу и равным по уму, вполне способным его понять, — с Франческо Гвиччардини. Однако и тут не было настоящей дружбы. Гвиччардини был важный сановник и большой барин, Макиавелли — бедный литератор и опальный чиновник. Гвиччардини очень ценил ум и талант Никколо, охотно принимал его советы и услуги, но Никколо ни разу не мог забыть, какое отделяло их друг от друга расстояние\*.

Таковы факты. Друзей Никколо не имел. Его не любили. Об этом свидетельствует современник, которому можно пове-

---

ствие, а словечки и шуточки (*li mocti et facetie*) заставили нас хотать так, что мы чуть не вывернули себе челюстей». Душевнее других относился к нему Биаджо.

\* Гвиччардини это немного даже обижало, особенно под конец. В одном из писем он просит Никколо прекратить пышное титулование, шутливо угрожая, что будет отвечать ему тем же. «Бросьте же титулы, — пишет он, — и мерьте мои теми, каких вы хотели бы для себя» (*Lett. fam.* 193, август 1525).

речь, — Бенедетто Варки, историк. Рассказывая о смерти Никколо, Варки говорит\*: «Причиной величайшей ненависти, которую питали к нему все, было, кроме того, что он был очень неводержан на язык и жизнь вел не очень достойную, не приличествовавшую его положению, — сочинение под заглавием «Князь»». Но, конечно, главная причина «ненависти» была не в том, что Макиавелли писал вещи, которые разным людям и по-разному не очень нравились. Дело было в том, что Варки считал обстоятельством второстепенным: в личных свойствах Никколо. Такой, каким он был, для своей среды он был неприятен и потому неприятен. Его, не стесняясь, ругали за глаза. Верный Биаджо не раз сообщал ему об этом с сокрушением сердечным\*\*. Что же делало его чужим среди своих?

Итальянская буржуазия не приходила в смущение от сложных натур. Наоборот, сложные натуры в ее глазах приближались к тому идеалу, который не так давно формулировали по ее заказу гуманисты, — к идеалу широко разностороннего человека, uomo universale. Но была некоторая особенная степень сложности, которую буржуазия переносила с трудом. Ее не пугали ни сильные страсти, ни самая дикая распущенность, если их прикрывала красивая маска. Она прощала самую безнадежную моральную гниль, если при этом соблюдались какие-то необходимые условности. Гуманисты научились отлично приспособляться ко всем таким требованиям. За звонкие афоризмы, наполнявшие их диалоги о добродетели, им спускали все что угодно. Макиавелли наука эта не далась. Он не приспособлялся и ничего в себе не прикрашивал.

Во всяком буржуазном обществе царит кодекс конвенционального лицемерия. Тому, кто его не преступает, заранее готова амнистия за всякие грехи. Макиавелли шагал по нему, не разбирая, а иной раз и с умыслом топтал его аккуратные предписания. Он был не такой, как все, и не подходил ни под какие шаблоны. Была в нем какая-то нарочитая, смущавшая самых близких прямолинейность, было ничем не прикрытое, рвавшееся наружу даже в самые тяжелые времена, нежелание считаться с житейскими и гуманистическими мерками, были всегда готовые сарказмы на кончике языка, была раздражавшая всех угрюмость, манера хмуро называть вещи своими именами как раз тогда, когда это считалось особенно недопустимым. Когда «Мандрагора» появилась на сцене, все смеялись: не смеяться

\* Storia Fiorentina / Ed. le Monnier. 1888. Т. I. Кн. IV. Гл. 15. С. 200.

\*\* Lett. fam. 55 и 79.

было бы признаком дурного тона. Но то, что лица «Мандрагоры» были изображены как типы, а сюжет был разработан так, что в нем, как в малой капле воды, было представлено глубочайшее моральное падение буржуазного общества, раздражало. Сатира была более злая, чем допускала лицемерная условность.

Если его осуждали за дурной характер и пробовали хулить за то, что он выходит из рамок, он всем назло делал вдвое, не боясь клепать на себя, и выдумывал себе несуществующие недостатки сверх имеющихся. Гвиччардини — правда, ему одному, потому что он был уверен, что будет понят им до конца, — Никколо признавался с некоторым задором: «Уже много времени я никогда не говорю того, что думаю, и никогда не думаю того, что говорю, а если мне случится иной раз сказать правду, я прячу ее под таким количеством лжи, что трудно бывает до нее доискаться» \*.

И эта бравада, по поводу которой Гвиччардини мог бы заметить, что она вполне подпадает под действие софизма об Эпимениде-критяnine, и все остальные, которые так бесили его общество, имели источником своим полупренебрежительный, полупессимистический взгляд Макиавелли на ближнего своего. В последней, восьмой песне неоконченного «Золотого осла» он вкладывает в уста свиньи грозно хрюкающую филиппику против человека, в которой разоблачаются недостатки, свойственные его природе. И сатире «Осла» вторят общие положения больших трактатов: «люди злы и дают простор дурным качествам своей души всякий раз, когда для этого имеется у них легкая возможность»; «люди более склонны ко злу, чем к добру»; «о людях решительно можно утверждать, что они неблагодарны, непостоянны, полны притворства, бегут от опасностей, жадны к наживе» \*\*.

Люди не стоят того, чтобы быть с ними искренними. Люди не стоят того, чтобы из-за них терпеть невзгоды и огорчения. Люди не стоят того, чтобы задумываться об их участи, когда им грозит несчастье. А если они провинились и заслуживают наказания, не стоит их жалеть. Когда Паоло Вителли, кондотьер на службе у Флоренции, руководивший осадой Пизы, стал вести себя подозрительно и в руки комиссаров республики попали

\* Lett. fam. 179.

\*\* Discorsi. Кн. I. Гл. 3 и 9; Principe. Гл. 17. Оговорка (Discorsi. Кн. I. Гл. 27), что «люди чрезвычайно редко бывают или совсем дурными или совсем хорошими» (по поводу Джан Паоло Бальони), имеет, как увидим ниже, особый смысл и не ограничивает основного суждения.

уличающие его документы, Макиавелли был в числе тех, кто требовал его казни (1499), а когда она была совершена, громко ее оправдывал. Когда Ареццо, летом 1501 года восставший и на некоторое время отложившийся от Флоренции, был приведен к покорности, Макиавелли в качестве секретаря [Коллегии] Десяти писал комиссару с требованием выслатъ во Флоренцию главарей восстания: «Пусть их будет скорее двадцатью больше, чем одним меньше. И не задумывайся над тем, что опустеет город» \*.

Но когда он сам сделался игралищем судьбы, попал в тюрьму и «на плечах его остались следы шестикратной пытки веревкою», он призывал гром и молнию на головы всего остального человечества, лишь бы его оставили в покое. «Пусть несчастье постигнет других, только бы мне спасти свою шкуру. Пусть бросят врагам моим кого-нибудь на растерзание, только бы они перестали грызть меня» \*\*. Он — отдельно. Он выше других.

Другие могут стать жертвою политического террора или судебной ошибки, он — нет. Мерки разные. Как могло такое пренебрежение не злить тех, кого оно поражало?

И они ему отплатили. В то время как целая куча людей неизмеримо менее нужных, чем он, бездарные буквоеды, трухлявые насквозь, были окружены кольцом близких, обременены почестями и благами, Никколо прошел свой путь одинокой, безрадостной тенью, и богатая Флоренция, умевшая оплачивать труды, позволяла ему с огромной семьею на руках горько нуждаться и искать заработка в сомнительных подчас аферах \*\*\*.

### III

Как это ни странно, в эпоху такой неслыханной распущенности людям больше, чем что-нибудь, не нравились беспорядки интимной жизни Макиавелли. Варки — мы видели — на это определенно указывал. Гвиччардини дружески его за это жу-

\* Цит. по: Villari. Vol. I. P. 377.

\*\* См.: Villari. Vol. II. P. 204.

\*\*\* О том, как Макиавелли нуждался, мы знаем из писем его к племяннику Джованни Верначчи (Lett. fam. 160 и ряд следующих). Некоторый доход принесли ему хлопоты в Риме по делам Донато дель Карно, о котором будет речь ниже (Lett. fam. 152, от Баттисты делла Палла). «Жизнь Каструччо», полная тенденциозных измышлений, была написана для оправдания претензий на господство в Лукке наследников Паоло Гуиниджи и едва ли не была ими оплачена. См.: Winkler. Castruccio Castracani. 1897. S. 2—3.

рил. Правда, Никколо с некоторой, быть может, надрывной развязностью не делал из этих вещей никакого секрета. А злились на него больше всего те, кто особенно усердно скрывал свои собственные делишки.

Переписка Макиавелли дает пеструю и красочную картину этой стороны его жизни. Когда он говорит о женщинах, чувствуется, что каждая, самая мимолетная, связь чем-то его мучит. А он все-таки продолжает самым неразборчивым образом бросаться в новые приключения. Имена женщин мелькают в письмах постоянно. Все они — невысокого полета. То некая Янна, то другая, которую мы знаем не по имени, а только по месту жительства \*, то старая прачка в Вероне, которую подслушали ему в темноте и которая при свете оказалась до такой степени омерзительной, что его вырвало \*\*. То куртизанка второй или третьей категории, Ричча, недостаточно к нему внимательная, то молоденькая девушка в деревне, в которую он пылко влюбился, но которая далеко не осталась его единственной утешительницей в изгнании \*\*\*. То, наконец, Барбера, куртизанка более высокого ранга, имевшая связи и обладавшая сценическими талантами; она играет в его пьесах; он устраивает ей гастроли в провинции; на старости лет ездит за ней, занятый по горло серьезнейшими делами, как молодой воздыхатель, и смертельно о ней тоскует, когда она уезжает.

А приятели вдобавок вкрапливают ему в письма — латинские по этому специальному случаю — намеки, которые заставляют думать о каких-то серьезных уклонах Никколо в этих делах \*\*\*\*. Возможно, конечно, что инсинуации «страдиотов» канцелярии — самое обыкновенное непристойное трепачество, всегда увлекавшее недоносков гуманизма. Канцелярия Дворца

\* «Scis quam dicam etc. Lungo Arno da le Grazie»<sup>7</sup>. Это та, которая, по словам друзей, ждет его «a ficha aperta»<sup>8</sup> (Lett. fam. 13).

\*\* Lett. fam. 105. «Желудок, не будучи в состоянии вынести такой удар, содрогнулся и от сотрясения раскрылся». — «Lo stomacho per non poter sopportare tale offesa tucto si commesse et commosso oro». Описана женщина с таким зверским натурализмом, что тошнит читать. Но нет оснований предполагать, как это делают биографы (Villari. Vol. II. P. 289; Tommasini. Vol. I. P. 484), что весь эпизод не более как чисто литературная выдумка: слишком много в письме неподдельной макиавеллевой горечи.

\*\*\* Lett. fam. 150. О Ричче см. ниже.

\*\*\*\* Lett. fam. 16: «Non posse te ullo pacto in Galia nisi magno cum discrimine civersari, propterea quod istic pedicones et pathici vexantur lege acriter»<sup>9</sup>. От Агостино Веспуччи. Макиавелли был в это время во Франции.

Синьории была ведь «вральней» (il bugiale) не хуже, чем ватиканская. Но переписка с Веттори свидетельствует, что Никколо умел смаковать, хотя тоже не без гримасы боли, рассказы, всего меньше добродетельные и доверху полные всякими уклонами\*.

Веттори жил барином в Риме. Дела у него были необременительные, денег достаточно, и единственной серьезной заботой его было ублажать свою грешную плоть. Блудил он по-сановному: степенно, добросовестно, неторопливо. А когда в его безмятежное житье вторгались разные деликатные казусы, он повергал их на суждение Макиавелли. Например. В его доме — двое приживальщиков: один, Джулиано Бранкаччи — большой поклонник женского пола, другой, Филиппо Казавеккиа — совсем наоборот. Когда «оратора» посещает куртизанка, его знакомая, Филиппо ворчит, что это недостойно лица в его положении. Когда приходит — по делу, уверяет Веттори, — некий сер Сано, своеобразные вкусы которого составляют притчу во языцах в Риме, Флоренции и окрестностях, протесты Филиппо внезапно смолкают, но выходит из себя Джулиано и кричит, что Сано — uomo infame<sup>10</sup>, что принимать его — позор. Веттори не знает, как ему быть\*\*. Макиавелли в письме, великолепно по силе иронии и по меткости «воображаемых портретов», подсказывает посланнику выход, а в одном из ответных — это чудесная маленькая новелла, от которой не отказались бы ни Фиренцуола, ни Банделло — сам рассказывает, как некий единомышленник сера Сано и Филиппо «охотился за птицами» во Флоренции в темную ночь, как, наохотившись всласть, пытался заставить расплатиться за свое невинное удовольствие приятеля, такого же убежденного «птицелова», и как на этом попался\*\*\*. А разве не новелла тоже — бытовая картинка, которая разворачивается еще в двух письмах Веттори?\*\*\*\*

\* В ближайшие два-три года после катастрофы, лишившей Никколо места в обществе, Франческо Веттори, дипломат и историк, был его главным корреспондентом. Большинство их писем посвящены обсуждению политических вопросов, прежде всего возраставшей с каждым годом опасности порабощения Италии чужеземцами. Для Макиавелли его письма служили этюдами к большим работам, а Веттори козырял идеями Никколо в Ватикане. Когда высокая политика надоедала, друзья писали о другом.

\*\* Lett. fam. 139.

\*\*\* Lett. fam. 144.

\*\*\*\* Lett. fam. 141 и 143.

К «оратору» пришла в гости соседка, вдова, очень почтенная, с двадцатилетней дочерью, с четырнадцатилетним сыном и с братом, очевидно, в качестве телохранителя. Бранкаччи немедленно стал таять около девушки, Филиппо присоседился к мальчику и, тяжело дыша, повел с ним разговор об его учении. Посланник беседовал с родительницею, одним глазом следя за Филиппо, другим за Джулиано. Потом пошли к столу, и неизвестно, каким образом нашли бы примирение столь многочисленные противоречивые интересы, если бы не неожиданный приход других гостей. Через несколько дней добродетельная матрона привела дочку к Веттори уже без телохранителя и, уходя, забыла ее. Девушка оказалась не строптивой. «Оратор» так ею увлекся, что испугался сам: как бы страсть не захватила его серьезно. Потребовалась диверсия. Он вызвал к себе своего племянника Пьеро. «Прежде мальчик приходил ко мне ужинать, когда хотел, теперь не ходит. Еще можно было бы, кажется, потушить этот огонь: он не разгорелся настолько, чтобы такая вода не могла его залить». Огонь — девушка, вода — Пьеро.

В доме посланника явно впали в уклон даже стихи.

Сидя в деревне, Никколо с любопытством следил, как развертываются эти разносторонне — во многих смыслах — запутанные извивы. На фоне густых римских удовольствий его собственные похождения с бесхитростными и необученными деревенскими прелестницами представлялись ему, может быть, элементарными и убогими, но замысловатый переплет, в котором копошились римские приятели, все-таки должен был вызывать у него не одну мефистофельскую улыбку. Это видно по его ответным письмам. Он ничего не осуждает. Он только наблюдает. Как мудрец и как художник. Потому что человеческие документы этого рода его жадно интересуют. Веттори знал, что у Никколо встретит сочувствие и такое его сверхэпикурейское размышление: «Когда я отдаюсь мыслям, они часто нагоняют на меня меланхолию, а этого я терпеть не могу. По неволе приходится думать о вещах приятных, а какая вещь может доставить большее удовольствие, когда думаешь о ней или делаешь ее, чем *il fottere*» \*<sup>11</sup>.

Самое удивительное то, что наряду со всем этим Никколо был очень привязан к семье. По-настоящему, по-хорошему. Несмотря на все грехи, он никогда от нее не отдалялся. Когда его дела шли плохо, его больше всего тяготило, что будет нуждаться-

\* Lett. fam. 158.

ся его «команда» (la brigata). В письмах к детям, особенно более поздних, есть неподдельная теплота. Но Никколо не хочет давать ей воли: он не умеет быть нежным на словах. И мона Мариетта, жена его, по-видимому, эти вещи понимала хорошо. У нее было много такта, беспутного мужа своего она принимала, каким он был, очень его любила и была превосходной матерью. Из их многочисленного потомства пятеро выросли и пережили отца. Умер Никколо как добрый семьянин, на руках у жены и детей \*. И ни из чего не видно, чтобы свои внесемейные увлечения Макиавелли считал чем-то непозволительным. Для него это — вещи другого ряда, и только. Таких *distinguo* \*\* у него сколько угодно.

Он без всяких усилий переключал себя из одного настроения в другое. И не только, когда дело касалось интимных отношений. В письмах первых, самых тяжелых лет после жизненного крушения 1512 года — целый калейдоскоп набросков, рисующих его срывы и взлеты.

«Томмазо сделался чудным, диким, раздражительным и скардным до такой степени, что, когда вы вернетесь, вам будет казаться, что это другой человек. Я хочу рассказать вам, что у меня с ним вышло. На прошлой неделе он купил семь фунтов телятины и послал к Марионе. Потом ему стало казаться, что он истратил чересчур много, и, желая сложить на кого-нибудь часть издержек, он пустился клянчить себе компаньонов на обед. Я пожалел его и пошел вместе с двумя другими, которых я же и сосватал. Когда обед кончился и стали рассчитываться, на долю каждого пришлось по четырнадцать сольди. При мне было только десять. Четыре я остался ему должен, и он каждый день их у меня требует. Еще вчера приставал он ко мне с этим на Ponte Vecchio... У Джулиано дель Гуанто умерла жена. Три или четыре дня он ходил, как оглушенный судак. Потом встряхнулся и теперь хочет непременно жениться снова. Все вечера мы просиживаем на завалинке у дома Каппони и обсуждаем предстоящий брак. Граф Орландо все еще сходит с ума по одном мальчишке известного сорта, и к нему нельзя подступиться. Донато дель Корно открыл другую лавочку...» \*\*\*.

---

\* Свидетельство внука, Дж. Риччи (см.: Tommasini. Vol. II. P. 904). Подлинность письма Пьеро Макиавелли, сообщающего о смерти отца (Lett. fam. 229), Томмазини оспаривает (Vol. II. P. 903 и след.)

\*\* Схоластическое разграничение, не очень убедительное объективно.

\*\*\* Lett. fam. 122, к Веттори.

«Когда я бываю во Флоренции, я делю свое время между лавкою Донато и Риччей. И, кажется мне, что я стал в тягость обоим. Один зовет меня несчастьем своей лавочки (*impraccia-bottega*), другая — несчастьем своего дома (*impraccia-casa*). Но и у него, и у нее я слышу за человека, способного дать хороший совет, и до сих пор эта репутация настолько мне помогала, что Донато позволяет мне погреться у камелька, а Ричча дает иной раз, правда украдкой, поцеловать себя. Думаю, что эта милость продлится недолго, потому что и тут и там мне пришлось дать советы — и неудачно. Еще сегодня Ричча сказала мне, делая вид, что разговаривает со служанкою: «Ах, эти умные люди, эти умные люди! Не знаю, что у них в голове! Кажется мне, что им все видится шиворот-навыворот»» \*.

Ничего страшного, однако, не произошло. «Наш Донато вместе с приятельницей, о которой я вам как-то писал, — единственные два прибежища для моего суденышка, которое из-за непрекращающихся бурь осталось без руля и без ветрил (*sanza timone et sanza vele*)» \*\*.

Мещански-серое, не очень сытое, уязвляющее на каждом шагу самолюбие житье в городе беспрестанно гнало Никколо в деревню и заставляло подолгу там оставаться. У него было именице, называвшееся Альбергаччо, в Перкуссине, неподалеку от Сан-Кашьяно, по дороге в Рим. Там, худо ли, хорошо ли, мог он жить с семьей не попрошайничая, имел кров, пищу и даже общество, правда, иной раз самое неожиданное.

«Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свои лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие-нибудь нелады с соседями или между собою... Из лесу я иду к фонтану, а оттуда — на птичью ловлю \*\*\*. Под мышкою у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов — Тибулл, Овидии, другие. Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время. Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, рас-

---

\* Lett. fam. 142, к Веттори. Веттори в ответ утешает его: «Ричча, конечно, может в сердцах ругнуть советы умных людей. Но не думаю, чтобы из-за этого она перестала вас любить и не открыла вам дверей, когда вы в них постучитесь» (Lett. fam. 143).

\*\* Lett. fam. 159, к Веттори.

\*\*\* На этот раз птичья ловля — самая настоящая, не иносказательная.

спрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем вместе со всей командой (la brigata, т. е. семья) то, что мое бедное поместье и малые мои достатки позволяют. Пообедав, возвращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я застреваю до конца дня, играю с ними в крикку и в трик-трак\*. За игрою вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств содрогаются воздух. Мы воюем из-за каждого кватрино\*\*, и крики наши слышны в Сан-Кашьяно. Так, спутавшись с этими гнидами (pidocchi), я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно. Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату (scrittoio). На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облакаюсь в одежды царственные и придворные (reali e curiali). Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них»\*\*\*.

Это замечательное письмо, которое наряду с последней главою «Il Principe» обошло все хрестоматии, дает ключ ко многому. «Пусть судьба истопчет меня — я посмотрю, не станет ли ей стыдно». Какое отчаяние, какой безнадежный пессимизм в этих словах! Ведь все, что в характере и в поведении Никколо так злило и так оскорбляло современников, — все в этом крике души. Жизнь била его, не давая вздохнуть. Впереди ничего. Так пусть же он будет еще хуже, чем о нем думают. Пусть все знают, до какого смрадного дна способен он докатиться. Пусть все морщатся от его сарказмов и мифистофельского его смеха. Пусть! «Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

А способен ли кто-нибудь после глубочайшего падения взлететь к солнцу, «когда божественный глагол до слуха чуткого

\* Крикка — карточная игра, трик-трак — игра на доске.

\*\* Мелкая монета.

\*\*\* Lett. fam. 137, к Веттори, 10 декабря 1513.

коснется»? Из грязной придорожной деревенской остерии, из москательной лавки Донато, из домика захудалой куртизанки способен ли кто-нибудь перенестись сразу в общество величайших мужей древности, упиваться «беседою» с ними, парить в недостижимой высоте творческих экстазов? Только он. Этого не хотят видеть? Не хотят его признавать? Тем хуже! Прикосновение к тому вечному, что есть у древних, даст в нем выход родникам мысли, и, выпрямленный, он будет создавать ценности, равные античным.

Вот эта способность творить и действовать, преодолевая постоянные внутренние боли, не давая жизненным невзгодам задушить силы духа, торжествуя над мутящим мозг пессимизмом, способность творить и действовать, раскрывая до конца дары ума и воли, темперамента и энергии, и приобщила Макиавелли к сонму великих.

#### IV

Общество, которое не хотело понимать Макиавелли и отвергало его, было общество Возрождения. Никколо был его родным детищем, но капризным и своенравным: свет и тени в нем были распределены по-другому, чем у огромного большинства.

Культура Возрождения — организм сложный и противоречивый. Различные ее элементы сталкивались между собою с резкой непримиримостью, но в конце концов как-то все-таки уживались вместе. Разложение быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, преклонение перед человеком и силами его духа, перед красотой в природе и в человеческих творениях, расцвет искусства и литературы, первые серьезные завоевания науки, разрыв с церковными идеалами и утверждение мирских — все это переплеталось между собою и сливалось в видение необычайного блеска, который ослеплял чужестранцев, а итальянцев наполнял гордостью и высокомерным сознанием превосходства над другими народами.

Простейшими и самыми естественными плодами, которые произрастали в этой атмосфере, были неутолимая тяга к соблазнам и прельщениям жизни, жадная хватка, напор, неудержимый рост хищных инстинктов: в идейном обрамлении, как у Пьетро Аретино, или в полной обнаженности, как у большинства. У Никколо всего этого было не меньше, чем у любого из современников. Но судьба не дала развернуться его аппетитам.

Его это очень сокрушало. В капитоло\* «О случае» он грустно поет о том, как Случай в виде женщины с копной волос спереди и с голым затылком промелькнул перед ним прежде, чем он успел его схватить, а в капитоло «О фортуне», написанном в пожилые годы, жалуется, что фортуна любит молодых и смелых, очевидно, не решаясь причислить себя и ко второй категории. Приходилось мириться, что судьба, выбирая любимцев, обошла его. Его ждала «иных восторгов глубина».

У него было нечто, чего не было ни у кого из избалованных утехами жизни: огромный, острый, безгранично смелый ум. Уму Макиавелли была свойственна некоторая рационалистичность, подчас сухость, но критическая его сила была поразительна. Анализ Макиавелли не знал никаких преград, проникал до дна, доискивался до последних начал. Никто не умел с таким неподражаемым искусством изолировать вопрос и обнажать его имманентную сущность. Бесстрашие некоторых его логических операций не только смущало современников, но уже много веков бесит иезуитов, мучит моралистов и расстраивает нервы буржуазным ученым.

Легкой и безболезненной жертвой анализа Макиавелли сделалась очень скоро вера. Никколо был настоящим атеистом и по духу и по научному своему облику. Библия и Отцы Церкви были знакомы ему мало. Его начитанность была чисто мирская, а когда по ходу рассуждений ему приходилось касаться опасных вопросов, он, подобно Леонардо, прятал ироническую усмешку под гримасою благочестия\*\*. Неверие в то время отнюдь не было чем-нибудь революционным, особенно если оно не провозглашалось в кричащих лозунгах. Католическая реакция еще не пришла, а религиозного пафоса в кругах образованных людей давно уже не было. Придворные дамы, как Эмилия Пиа, умирали без исповеди, а пылкий республиканец Пьеро Паоло Восколи, беседуя перед казнью с друзьями и духовником, мучительно хотел умереть добрым христианином и умо-

\* Капитоло (capitolo) — стихотворение обычно на дидактическую тему, написанное терцинами.

\*\* См. напр.: II Principe. Кн. II: «Так как этими (церковными) княжествами управляют высшие силы, непостижимые для человеческого ума, то я не буду о них говорить. Они возвеличены и хранимы Богом, и рассуждать о них может лишь человек самоуверенный и дерзкий». О крупнейшем из этих «хранимых Богом» княжеств — о Папской области — Макиавелли «рассуждал» самым уничтожающим образом.

лял, чтобы у него «вынули из головы Брута»: ему никак не удавалось настроить себя благочестиво. Но атеизм у всех оставался делом личной совести. Ум Макиавелли был неспособен остановиться на этом. У него сейчас же стройным рядом выстроились категории: личная вера; религия как общественное настроение, подлежащее учету и воздействию со стороны всякого политика; религия как сила, формирующая человеческую психологию; религиозная точка зрения, вторгающаяся в научное исследование; соприкосновение религии с моралью и их совместное пертурбирующее действие при научном анализе; Церковь; духовенство.

Атеизм не нарушал канона Возрождения, ибо канон Возрождения признавал безграничную свободу за критикующим умом. Но, признавая законность неверия, канон на этом останавливался. Критический анализ христианской религии ставил точку где-то очень близко. Макиавелли с хмурой усмешкой смахнул эту точку и пошел дальше.

Прежде всего он сделал одно очень важное сопоставление. Личная вера—бессмыслица. Но пока на эту точку зрения станет большинство, пройдет много времени. Религия как настроение широких народных масс будет существовать еще долго, и политик должен уметь этим настроением пользоваться, как пользовались им римляне. Мало того: религиозность в народе нужно поддерживать, потому что народом религиозным легче управлять\*. Это — рассуждение реального политика. Но нельзя закрывать глаза на то, что христианская религия, выдвигая на первый план заботу о делах потусторонних, полагая высшее благо в смирении и неприятии мира, заставляет никнуть дух, размягчает характер, принижает силу и энергию человека. Древние, наоборот, своей религией поднимали дух, прославляли силу, мужество, суровую непреклонность, и потому народы древности способны были свершить великое. Христианская религия ослабляет волевую и умственную активность в человеке и в народе, и потому находятся в упадке любовь к свободе и республиканский дух\*\*. С этим надо бороться.

Вот цепь рассуждений, определяющих роль и значение христианской религии в общественной жизни. До них раньше Макиавелли не додумывался никто, хотя все его выводы сделаны из посылок, давно усвоенных канонам Возрождения. Но Ма-

---

\* Discorsi. Кн. I. Гл. 12.

\*\* Discorsi. Кн. II. Гл. 2.

киавелли и на этом не остановился. Когда ему пришлось ставить и разрешать вопросы политической теории, он должен был задуматься над тем, чем руководствоваться в анализе. До него самые блестящие образцы теоретических рассуждений в области политики были неразрывно связаны с моралью, и так как это были рассуждения не гуманистические, а схоластические, то и с религией. Гуманисты, поскольку в своих сочинениях они касались политических вопросов, делали иной раз робкие попытки поговорить о политике свободно, но жизнь не ставила им трагических вопросов, и у них все кончалось легкой игрою ума. Макиавелли понял, что, пока он не изолирует вопросов политики от вопросов морали и религии, до тех пор он будет беспомощно топтаться на месте и не скажет ничего нужного для жизни. А события были таковы, что необходимо было политические вопросы ставить и разрешать с величайшей, беспощадной прямою и смелостью: для этого надо было отбросить все, что мешало свободному анализу, в том числе религиозные и моральные соображения. И Макиавелли дерзнул. Именно за это его кляли больше всего и при жизни и особенно после смерти.

С Церковью и духовенством вообще было легче. Это была проторенная дорожка со времени первого «Новеллино»<sup>12</sup>. Но Макиавелли не умел смеяться так, как смеялись новеллисты. Его смех был другой. В «Мандрагоре» Церковь в лице монаха фра Тимотео разрушает крепкие моральные устои у людей, успокаивает сомнения, продиктованные чистой совестью, толкает к греху и удовлетворенно позвякивает потом тридцатью сребрениками, полученными за самое безбожное с ее собственной точки зрения дело. Это — не легкая насмешка. Это — свирепая, уничтожающая сатира. Макиавелли знает, что он хочет сказать. Пока Церковь управляет совестью людей, не может быть здорового общества, ибо Церковь благословит, если это будет ей выгодно, самую последнюю гнусность, самое вопиющее преступление. Совершенно так же, как не может быть в Италии здорового, т. е. единого и свободного государства, пока в центре страны укрепилась Папская область, которая в своих интересах идет наперекор национальным задачам страны. Тут полная параллель.

В вере, в религии, в Церкви — главное зло. Чем сложнее становится жизнь, тем это зло больше. Потому что усложняющаяся жизнь — это новая жизнь, которая секуляризируется с каждым днем сильнее к великой невыгоде Церкви. Церковь отстаивает свои позиции с непрерывно возрастающим озлоблением.

И тем более непреклонно и непримиримо должна нестись борьба со старым, еще не изжитым наследием феодального мира. Вольтер скажет потом: «Раздавите гадину» — «Ecrasez l'in-fame». Формула принадлежит ему, мысль — Макиавелли.

Доктрина Возрождения благодаря Макиавелли вбирала в себя под напором жизни новые элементы, все более решительные и боевые. В ней, как и в микельанджеловском искусстве, появлялась *terribilita*, нечто «грозное», что отпугивало более робких, но с точки зрения социальных и политических задач времени было самой естественной защитной реакцией, ибо в «Il Principe» и в аллегориях Сикстинского плафона трепещет в муке один и тот же дух. Страшно, но неизбежно. Жизнь — Голгофа. Ее отражение не может быть хороводом танцующих путти<sup>13</sup> на светлом розовом фоне или беззаботной карнаваль-ной песенкой.

И важно в жизни то, что нужно. Распределяя ипостаси гуманистического канона в порядке убывающей политической, т. е. единственно жизненной, важности, Макиавелли нашел, что ренессансный культ красоты — нечто совершенно бесполезное. Он знал, конечно, что идея прекрасного в мировоззрении эпохи играет огромную роль и является неотъемлемой частью культуры Возрождения. Но это его не останавливало. С точки зрения трагических «быть или не быть» это не нужно. Ни красота в природе, ни красота в искусстве. В писаниях Макиавелли нет ни одной строки, где бы чувствовалось понимание красот природы, лирическая настроенность, подъем. Никколо имел слабость считать себя поэтом \* и стихов написал достаточно. Но это — не поэзия, а рифмованный фельетон: и стихи в комедиях, и «Десятилетия» («Decennali»), и «Золотой осел» («Asino d'oro»), и *capitoli*, и песни. Настоящий подъем, трепет подлинного чувства, пламенная лирика — политическая — у Макиавелли не в стихах.

С таким же равнодушием, как к природе, относился он и к искусству. В «Истории Флоренции» оно не играет никакой роли. Даже рассказывая о Козимо и Лоренцо, он оставил совершенно в тени вопросы искусства. Имена Брунеллеско, Гиберти, Донателло, всей плеяды художников, работавших при Лоренцо, даже не упоминаются. В характеристике Лоренцо есть

---

\* Он был очень обижен на Ариосто за то, что тот, перечисляя в «Orlando Furioso»<sup>14</sup> крупнейших современных поэтов, не упомянул его имени, «отбросил его как собаку». См.: Lett. fam. 166, к Луиджи Аламани.

только одна фраза: «Он очень любил всякого художника, выдающегося в своей области» \*.

А в «*Arte della guerra*» он говорит про Италию, что она «воскрешает мертвые вещи: поэзию, живопись, скульптуру» \*\*.

В идеологии Возрождения его интересует только индивидуалистическая доктрина, но в его руках она стала неузнаваема. У гуманистов интерес к человеку есть интерес к личности. Он замкнут в кругу этических проблем. Макиавелли этот круг разрывает. Человек у него берется в самом широком смысле слова, и опять строятся категории: человек, люди; соединение людей, т. е. общество; жизнь общества и борьба общественных групп; возникновение власти; властитель и различные его типы; государство и различные его формы; государственное устройство; столкновение между государствами; война; нация. Его интерес возрастает по мере того, как он двигается в этой цепи все дальше. Меньше всего интересует его отдельная личность. Зато никто до него не подвергал такому всеобъемлющему анализу человека «как существо общежительное». В миропонимании Возрождения Макиавелли — рубеж. Он первый стал изучать человека и человеческие отношения не с этической, а с социологической точки зрения, и это у него не случайные проблески, не единичные озарения, а выношенная до конца мысль, которой не хватало только систематического изложения и четкой терминологии, чтобы сразу войти в идейную сокровищницу человечества. А в идеологии Возрождения ломка этической установки и внесение социологической имело еще один колоссальный результат. От звена к звену, от силлогизма к силлогизму, неотразимым напряжением логической мысли Макиавелли приходит к тому, что требует от него социальный заказ: к созданию политической теории Возрождения.

В сравнении с его конструкциями кажутся детским лепетом не только чисто этические этюды Петрарки и Салютати, но и сравнительно зрелые, тронутые и социологическим прозрением и политическим анализом рассуждения Бруни, Поджо, Понтано. Между тем формально Макиавелли был вооружен для этой задачи гораздо хуже и не обладал такой колоссальной начитанностью в классиках, как крупнейшие представители гуманизма. Но он в ней и не нуждался: ему было достаточно начитанности в размерах, строго необходимых для проверки своей мысли. Он

\* *Storia Fiorentina*. Кн. VIII. Гл. 36; «*Amuva maraviglfosamente qualunque era in una arte ecelente*».

\*\* Там же. Кн. VII, в самом конце. См. в: *Machiavelli N. Opere*. 1819. Vol. V. P. 420.

подходил к Ливию и Тациту, к Плутарху и Полибию совсем не так, как гуманисты. Их интерес к древним был научный. Практических целей они не преследовали. Они не «беседовали с классиками», не «спрашивали у них объяснения их действий», и те не «отвечали им благосклонно». Для Макиавелли классики только такой смысл и имели. Все, что в них было ему интересно, интересно было потому, что находило применение в жизни, в делах сегодняшнего дня. Античные историки и мыслители помогали ему понимать отношения, в которых жил он сам, которые затрагивали его, людей его группы, его родной город, родную его страну. Но никогда не полагался он на классиков всецело. Если они служили оселком, которым он проверял свои наблюдения и мысли, то их он тоже проверял собственным опытом и данными истории итальянских коммун. Наряду со Спартой, Афинами, Римом, Карфагеном он обращался к прошлому Болоньи, Перуджи, Сиены, Фазенцы и никогда не упускал из поля зрения Венецию и Флоренцию, Милан и Неаполь. Чтобы понять до конца, например, Цезаря Борджиа, вскрыть то типическое и практически нужное, что в нем имеется, на него нужно предварительно накинуть римскую тогу. Простого наблюдения недостаточно, хотя бы оно было самое пристальное; хотя бы оно длилось месяцами. Сравните письма Легации в Имолу, записку о том, как герцог Валентино расправился с кондотьерами, и страницы, посвященные Цезарю в «Il Principe». Донесения Легации накапливают наблюдения над живым человеком, ряд моментальных фотографий, скрупулезно точных, день за днем, с 7 октября по 21 января 1502 года\*. Записка химически «обрабатывает» герцога Валентино Ливием и Тацитом, и в результате этой «реакции» получается Цезарь Борджиа стилизованный, уже не во всем похожий на подлинного Цезаря Легации. «Il Principe» подводит итоги; в нем герцог Валентине — отвлеченный, разложенный на ряд максим практической политики: кто желает, может ими пользоваться. И когда угодно: сейчас, через сто лет, через пятьсот лет.

Без классиков построения Макиавелли остались бы не вполне законченными. Но классики для него материал подсобный. Макиавелли — не гуманист: в тревожное время, в которое ему пришлось жить, типичными гуманистами могли быть только бездарные и бездушные люди. Но он — подлинный человек Возрождения, а его политическая теория — подлинная доктрина.

---

\* Год по флорентийскому календарю начинался не 1 января, а 25 марта.

на Возрождения. В ней вековой опыт социальной ячейки Возрождения — итальянской коммуны — подвергнут обобщающему анализу, очищен от плевел церковной идеологии, проверен на классиках. И оплодотворен могучим порывом к действию, идеей *virtú*.

Что такое макиавеллева *virtú*? Это последнее слово ренессансного индивидуализма, венчание его теории с духом живого дела, прославление и апофеоз действенной энергии человека. *Virtú* — не «добродетель» Петрарки, почерпнувшего сию формулу у Цицерона, и не «добродетель» Бруни, взятая напрокат у стоиков, и даже не радостная стилизация здорового жизненного инстинкта, формулированная Валлою по эпикурейским образцам. Макиавеллева *virtú* — это воля, вооруженная умом, и ум, окрыленный волею, страстный зов к планомерному, сознательному, самому нужному делу: завет его времени будущему.

Идеология Возрождения — от начала до конца идеология переходного исторического периода, эпохи разложения феодального общества и возникновения общества буржуазного. И от начала до конца эту идеологию определяют интересы буржуазии, обороняющейся и наступающей, слабеющей и торжествующей, побеждающей и побеждаемой; смотря по тому, как складывалась и коммунах социальная группировка и какая группа буржуазии давала тон.

Какую же группу буржуазии представляет Макиавелли? И как интересы группы, им представляемой, запечатлелись в его политической доктрине?

## V

Когда Макиавелли поступил на службу, уже были налицо признаки кризиса, который переживало итальянское народное хозяйство. Кончился подъем, под знаком которого Италия жила, несмотря на все потрясения, чуть ли не со времени первого крестового похода. Торговля и промышленность, на которых зиждилось хозяйственное благополучие Италии, начинали клониться к упадку, и люди прозорливые это чувствовали не со вчерашнего дня. Лоренцо Великолепный, глава крупнейшей банкирской фирмы Италии, вложившей большие капиталы и в торговлю, и в промышленность, первый начал принимать меры, чтобы его банк не сделался жертвою кризиса. И эти меры производили, очевидно, настолько сильное впечатление, что и Гвиччардини, и Макиавелли, ближайшие после его смерти историки Флоренции, тщательно их отмечают.

Гвиччардини говорит\*: «Так как в Лионе, в Милане, в Брюгге и в других городах, где были у него торговые агентуры и конторы, росли издержки на представительство и на дары, а прибыли падали, ибо делами управляли люди малоспособные... и отчеты сдавались плохо — сам Лоренцо не смыслил в торговле и не заботился о ней, — то дела пришли в такое расстройство, что он был накануне разорения... Убедившись в том, что торговля идет плохо, он стал скупать земли на 15 или 20 тысяч дукатов...»

Макиавелли рисует дело так же, как и Гвиччардини\*\*. «В делах торговых он (Лоренцо) был очень несчастлив, ибо из-за недобросовестности служащих, которые управляли его делами не как частные люди, а как владетельные особы, во многих местах он понес большие денежные потери... Поэтому, чтобы не испытывать больше судьбу на этом поприще, он, отказавшись от коммерческих предприятий (*mercantili industrie*), обратился к скупке земель как к богатству более прочному и надежному».

В этих указаниях обращают на себя внимание две вещи. Прежде всего, Лоренцо сознательно извлекает капиталы из торговли и промышленности и вкладывает их в землю, считая, что земельная рента вернее. И нужно заметить, что он не только скупает земли, но и всеми другими способами старается сосредоточить в своих руках как можно больше земельных владений, словно предчувствуя, что в недалеком будущем земля действительно станет более надежным богатством. Так, избрав для своего второго сына духовную карьеру (1483), Лоренцо воспользовался своим огромным влиянием на папу Иннокентия VIII и начал такую безудержную охоту за бенефициями для сына, что в его руках сосредоточились огромные церковные поместья в Италии и за Альпами. Распоряжение ими, юридически ограниченное определенными нормами, на деле было почти свободно, и касса медичейского банка получила очень неплохое подспорье\*\*\*.

То, что Лоренцо начал, следом за ним стали делать другие крупные капиталисты флорентийские: Капони, Пуччи, Руччелаи, Валори, Гвиччардини, Веттори и другие\*\*\*\*.

\* *Storia Fior.* // *Op. ined.* Vol. III. P. 87—88.

\*\* *Machiavelli N.* *Storia Fiorentina* / Ed. le Monnier. 1857. Vol. VIII. P. 36.

\*\*\* *Piccotti G. B.* *La giovinezza di Leone X.* 1928. P. 81.

\*\*\*\* См.: *Anzilotti.* *La crisi costituzionale della Repubblica Fiorentina.* 1912. P. 8—9. Автор нашел обильные указания на скупку земель в

И одно то обстоятельство, что тяга капиталов к земле уже в 80-х годах XV века становилась явлением далеко не исключительным, заставляет с большим сомнением относиться ко второму единогласному указанию Гвиччардини и Макиавелли: что торговля и промышленность давали убытки потому, что служащие медичейские были людьми неспособными или недобросовестными. У Медичи, надо думать, всегда было достаточно служащих и неспособных, и недобросовестных, а дела прежде шли отлично. Правда, после смерти Козимо служащие стали позволять себе не так строго подчиняться указаниям из Флоренции, и это приводило иногда к большим потерям\*. Но главная причина была вовсе не в этом. Менялась мировая хозяйственная конъюнктура. Лоренцо это понял, ибо неправ Гвиччардини, что Лоренцо «не смыслил в торговле». Он уступал, конечно, в коммерческих способностях Козимо, но отнюдь не был плохим купцом. Ему только не хватало специально коммерческой подготовки и собственного опыта, потому что его готовили к политической карьере больше, чем к купеческой\*\*. Теперь, через четыреста с лишком лет, ход заключений банкира-правителя, прибегавшего для перестраховки своих доходов к скупке земель, для нас совершенно ясен.

В Европе назревали повороты, последствия которых нужно было учитывать самым серьезным образом. В Англии кончилась война Роз, которая проделала вследствие неплатежеспособности Эдуарда IV<sup>15</sup> очень большую брешь в активе банка Медичи. Там появилась единая твердая власть. Она по-хозяйски стала на страже английской шерсти — продукта, без которого флорентийская суконная промышленность не могла существовать. Во Франции Людовик XI<sup>16</sup> закончил соби́рание коронных ленов, и Анжуйские<sup>17</sup> притязания на Неаполь, никогда не забывавшиеся, и притязания Орлеанского дома, связанные с правами Валентины Висконти на Милан, только теперь становились опасны, как скверная заноза, которая сначала не беспо-

---

деловых бумагах этих фирм, хранящихся во флорентинском архиве. Только нельзя, как это он делает, без оговорок утверждать, что «движение капиталов в деревню началось издавна» (он ссылается на книгу Родолико, посвященную концу XIV в.). Была большая разница между двумя моментами. Тогда покупали земли вследствие обилия доходов, теперь — чтобы спасти доходы; ибо в конце XIV в. был расцвет, в конце XV начинался упадок.

\* См.: *Meltzing O. Das Bankhaus der Medici und seine Vorläufer. 1906. S. 134—139.*

\*\* См.: *Ibid. S. 122—123.*

коила, а потом прикинулась болеть. Пока Флоренция в союзе с Миланом и Венецией вела войну против папы Сикста IV и Неаполя<sup>18</sup> — ее с необычайным терпением описал Макиавелли, — Лоренцо не раз угадывал хищную заинтересованность Людовика XI в итальянских делах \* и с тревогой обращал взоры на север. Куда направится боевая энергия неугомонившегося еще французского рыцарства теперь, когда прошла опасность со стороны Англии и кончились феодальные усобицы? А с другой стороны, теперь, когда в Англии и Франции наступило внутреннее успокоение, установилось политическое единство, появилась крепкая власть, будет ли там поприще для работы итальянских капиталов или им придется уступать поле молодым национальным капиталам, переживающим буйную эпопею первоначального накопления? Ничего радостного не виделось и со стороны Испании. Там Кастилия объединилась с Арагоном<sup>19</sup>, у которого тоже традиционные притязания на итальянскую землю, на Неаполь и Сицилию. Правда, там завязалась смертельная борьба с маврами, но она имеет все шансы кончиться счастливо. Куда бросятся неисчерпанные силы новой Испании? А с Востока, где тридцать с лишним лет назад пал под ударами турок Константинополь, где войска и флот султана обирают венецианские владения на морях и закупоривают торговые пути, не грозят ли новые бури? А на Западе, где ищут доступа к левантским рынкам кругом света, если найдут, не будет ли Италии совсем плохо?

Лоренцо делал все, что мог, чтобы предотвратить опасность. Он был творцом системы равновесия в Италии, очень плохого, но единственно возможного в то время вида единения. Оно прекращало на более или менее длительный срок внутренние усобицы, но не гарантировало ни от чего. На политической почве добиться большего было нельзя, ибо у Венеции, у Милана, у курии, у Неаполя были свои интересы, как и у Флоренции, и ни одно из пяти государств не было достаточно слабо, чтобы другие могли общими силами заставить его покориться. Трудность чисто политического соглашения коренилась главным образом в том, что среди пяти крупных итальянских государств было одно, имевшее не только итальянский, но и международный характер: Папская область. Губительная политическая роль Рима в Италии, раскрытая с такой сокрушающей убе-

\* Со времени издания писем Людовика XI (*Caruare, Vaesen et Mandrot. Lettres de Louis XI. 1883—1909*; см. особенно т. VII. С. 286 и следующие) у нас имеются документальные доказательства этого.

дительностью Макиавелли, становилась ясна уже и до него, и Лоренцо, конечно, приходилось задумываться над тем, какой оборот примут дела, если место «ставшего его глазами» Иннокентия VIII, папский престол, займет первосвященник более воинственный или более чадолюбивый, чем Сикст IV. И Италии повезло. После Иннокентия пришел сверхчадолюбивый Александр VI, а за ним через короткий промежуток сверхвоинственный Юлий II: после Юлия надолго исчезли надежды на осуществление единства.

В непримиримости политических интересов было главное несчастье Италии. Она порождала все ее национальные беды. Она мешала политическому объединению по примеру Франции и Испании. Она была причиной ее незащитности перед чужеземцами. И была неустранима, ибо в основе ее лежали чрезвычайно резкие экономические противоположности между отдельными ее частями. Типично промышленная, богатая капиталами Флоренция в кольце своего *contado*<sup>20</sup> с цветущими земледельческими культурами, рядом — чресполосно-феодалная, полудикая Романья, яблоко раздора между курией и Венецией — закрепленная за Римом Юлием II и перманентно разоренная римская Кампанья, а дальше к югу — нищие горные скотоводческие районы Неаполитанского *Reame*<sup>21</sup>. Венеция с крепкими отдельными отраслями индустрии и с огромной торговлей в большом стиле, по соседству — ломбардские города с падающей промышленностью, за ними — Генуя с падающей торговлей. Между крупными государствами — клинья мелких. Мантуя, Феррара, Урбино с сильными феодальными пережитками, с хозяйством преимущественно земледельческим, с мелкими предприятиями по добыче сырья, с торговыми монополиями казны и с военным предпринимательством (кондотьерская индустрия, если можно так выразиться), делающим хорошие дела; или Сиена, копировавшая в малом масштабе Флоренцию; или Лукка, хиревшая все больше; или Болонья, безуспешно пытавшаяся хозяйственно организовать Романью. Пестрый конгломерат государств, среди которых и районы с типично активной экономической политикой, как Флоренция и особенно Венеция, и не менее крупные — с типично пассивной: Рим, ненасытная утроба-потребительница, и полуфеодалный Неаполь. Каждое из этих государств, больших и малых, гораздо теснее было связано со своими сырьевыми базами и с рынками сбыта вне Италии, чем одно с другим. Наоборот, друг с другом они чаще всего были конкурентами или очень несговорчивыми и не всегда добросовестными контрагентами.

Экономические противоположности были чрезвычайно неуступчивы, так как в них кристаллизовались результаты очень раннего и буйного роста благосостояния, обострившего местные особенности. И самый гениальный политик не сумел бы в этот момент найти равнодействующую, которая сгладила бы эти противоречия. Лишь постепенно, веками, стали утрачивать они свою остроту, и между отдельными частями страны могло установиться такое хозяйственное сотрудничество, при котором политическое объединение сделалось возможно.

Когда Макиавелли поступил на службу (1498), уже исполнилось многое из того, что предвидел и чего боялся Лоренцо Медичи. Французское рыцарство прошло через всю Италию с Карлом VIII, ограбив ее, а теперь собирался завоевывать Милан преемник Карла, Людовик XII<sup>22</sup>. В Англии купцы и банкиры итальянские терпели поношение и вытеснялись с острова с немалым ущербом. В Испании борьба с маврами была кончена, и Гонсальво Кордовский, *il gran capitano*<sup>23</sup>, дал уже почувствовать силу своего меча неаполитанской земле. Турки настойчиво и методично продолжали свои завоевания. В поисках путей в Индию генуэзец Христофор Колумб нашел Америку, но его открытие принесло огромные выгоды Испании и до корня потрясло весь организм итальянской торговли. Ее приходилось свертывать все больше. Промышленность итальянских городов все с большим трудом находила сбыт для своих изделий. Пали доходы. Уменьшались богатства. И — что было страшнее всего — будущее не сулило никакого улучшения. Эпохе хозяйственного расцвета итальянской буржуазии приходил конец по-настоящему. Поднимали голову другие классы — землевладельческие и уже начинали кое-где играть заметную роль.

Открывалась новая эра. Ее назовут потом эрою феодальной реакции. Потрясениями, которые она принесла Италии, страна расплачивалась за процветание предыдущих четырех веков. Европа, которую Италия эксплуатировала столько времени, дождалась наконец момента, когда страна величайших богатств оказалась перед нею беззащитной. Старые феодальные государства переживали подъем, Италия — уклон. За Альпами начиналась ликвидация феодальных отношений, сковывавших хозяйственный рост, Италию заливали волны нового феодального прилива.

Время было насыщено событиями грозными и важными и, как всякая переломная пора, давало неисчерпаемый материал для наблюдения и анализа. Макиавелли стоял в самой гуще жизни и прекрасно понимал смысл происходившего. Он видел,

что продвижение капиталов в деревню раскалывает буржуазию, лишает ее политического веса и, наоборот, увеличивает политический вес враждебных буржуазии феодальных классов. Он был флорентиец и знал, как опасна такая ситуация.

Чтобы понять ход его мыслей, нужно бросить взгляд на эволюцию общественных классов в родном его городе.

## VI

Медичи пришли к власти (1434), опираясь на мелкую буржуазию, на ремесленные цехи, в борьбе с представителями крупного капитала, к которым принадлежали сами. Противники Медичи, Альбицци и их сторонники, представляли торгово-промышленный капитал. Им нужны были рынки сбыта. Они стремились к экспансии, вели завоевательную политику, истощали казну и не давали работы ремесленникам. Медичи представляли банковский капитал, в экспансии были заинтересованы мало, проводили политику бережливости и тратили огромные деньги на украшение города. Но ни Козимо, ни Пьеро, ни особенно Лоренцо никогда не отождествляли своих интересов с интересами ремесленного класса. Они были плотью от плоти и кровью от крови крупной буржуазии. Ремесленники нужны были им как опора, пока власть их не укрепилась окончательно. Когда Лоренцо почувствовал, что этот момент настал, политическая демагогия была выброшена вон, и он перестал скрывать свое настоящее лицо. Случилось это после заговора Нацци и окончания войны против Рима и Неаполя, в 1480 году. Именно в это время была создана твердыня медичейской деспотии — Совет Семидесяти, орган, назначавший Синьорию и из своей среды выделявший комиссии с главнейшими правительственными функциями. Ввиду исключительной важности этой коллегии состав ее должен был быть подобран особенно тщательно. И Лоренцо подобрал. В Совет Семидесяти вошли крупнейшие представители самой богатой буржуазии, как раз те, которые, подобно Лоренцо, имели большие вложения капиталов в землю. Их нужно было заинтересовать в сохранении власти Лоренцо и сделать, таким образом, орудиями династической политики Медичи. Это было достигнуто прежде всего податной системой. Налоги чрезвычайно заботливо обходили земельную ренту и обрушивались всей тяжестью на доходы с торговли и промышленности. Постоянная приобщенность к власти давала, кроме того, неисчислимы выгоды, а непрерывные

продления полномочий Семидесяти создавали атмосферу большой уверенности. Вместе с Лоренцо правила верхушка крупной буржуазии, ее рантьерская группа \*. Его правление, представлявшее собою организацию власти именно этой группы, было усовершенствованием принципов той самой олигархии, против которой так упорно боролись дед Лоренцо, Козимо, и прадед Джованни. И, естественно, оно вызывало недовольство других кругов буржуазии, интересы которых беспощадно приносились в жертву. Это недовольство прорвалось наружу, когда после смерти Лоренцо власть перешла к его сыну. Предательство Пьеро, сдавшего в 1494 году флорентийские крепости французам, послужило предлогом. Медичи были изгнаны, причем даже члены Семидесяти ни очень их защищали, надеясь без Медичи создать настоящую олигархию, при которой не приходилось бы львиную долю выгод отдавать синьору-правителю. Но этим надеждам не суждено было сбыться: другие группы буржуазии при поддержке ремесленников, цеховых и нецеховых, провели конституционную реформу. Основные ее линии сначала правильно наметил, потом безнадежно запутал Савонарола.

Этот гениальный монах был полной противоположностью Макиавелли: даром он был совершенно не понят им. Там, где у одного было трезвое размышление, у другого была интуиция, где у одного анализ — у другого религиозный пафос, где у одного продуманное знание — у другого видения. Макиавелли относился к народу без больших симпатии. Савонарола его трепетно любил. И в любви его к народу было что-то неизмеримо большее, чем простая гуманность или верность евангельскому слову о малых сих. Он разбирался в экономическом положении трудящихся и нападал на предпринимателей. В его проповедях мелькают зарницы-предвестницы далеких еще учений о праве на труд и о неоплаченном труде, хотя и недодуманные до конца и затуманенные религиозной фразеологией. Савонарола не сумел претворить их в жизнь и создать, как он хотел, условия человеческого существования для трудящихся, так беззаветно поддерживавших его в первое время. Он не мог даже поднять вопроса о какой-либо форме их участия в правящем органе. Тем не менее политическая терминология того времени называла савонароловский и послесавонароловский режим демократией, ибо он осуществил господство popolo<sup>24</sup>. А popolo в то время составляли полноправные граждане, *benefiziati*, которых на

\* См.: *Anzilotti A.* Указ. соч. С. 32 и след.

90 000 жителей было всего около 3200 человек: купцов, мануфактуристов, ремесленников. Они имели право заседать в Большом Совете. При Медичи, до Савонаролы и после Содерини, количество полноправных граждан опускалось до нескольких сотен. Разница была существенная, и мы понимаем, что тогда господство верхних 3000 провозглашали демократией. Менее понятно, когда демократией называют его современные исследователи. Это был умеренно буржуазный режим, в котором власть принадлежала торгово-промышленным группам. Савонарола, опираясь на низы, сверг господство рантье́рской буржуазии. Чрезвычайно жесткое обложение крупной земельной ренты поразило корни ее социальной мощи, в то время как налоги на доходы с торговли и промышленности всячески шадились. Вспыхнувшая на этой почве бешеная классовая борьба привела к тому, что торгово-промышленные группы отступились от Савонаролы и выдали его заклятым его врагам (1498), но режим его был сохранен этой ценою и позднее (1502) укреплен еще больше благодаря установлению пожизненного гонфалоньерата.

Пьеро Содерини был выдвинут крупной рантье́рской буржуазией, ибо был человеком их класса, но он обманул ее ожидания и ее путями не пошел. Он примкнул к большинству Большого Совета, стал во главе торгово-промышленной буржуазии и продолжал политику податного благоприятствования купцам, владельцам мануфактур и мастерских. Последние следы демократических чаяний Савонаролы испарились. Народ, *plebe*<sup>25</sup>, по тогдашней терминологии, противопоставившей его *popolo*, остался при разбитом корыте. Зато торгово-промышленные классы организовались очень крепко. Содерини окружил себя и пополнил ряды ответственных служащих новыми людьми. К их числу примкнул и Никколо Макиавелли. Он не принадлежал ни к купцам, ни к промышленникам. Но участие в правительстве, новые связи, образовавшиеся вскоре, большая близость к Содерини определили его социально-политический облик. По происхождению он принадлежал к старой флорентийской буржуазии. Теперь он нашел себе более определенную ячейку.

Четырнадцать лет, проведенных им на службе, сроднили его с этим классом. Постоянная борьба, которую богачи, прежние сподвижники Лоренцо, частью изгнанные, частью обобранные, частью задавленные налогами, вели против режима пожизненного гонфалоньерата, приучили его смотреть на них как на врагов, а все накопившиеся признаки феодальной реакции привели его к выводу, что люди, владеющие землею, т. е. свя-

занные с феодальным прошлым Италии, являются противниками всякого организованного общественного порядка. И когда ему в деревенском уединении пришлось продумать свой опыт, он внес в «Discorsi» следующее замечательное размышление о дворянах (*gentiluomini*)\*: «Дворяне — это люди, которые живут от доходов со своих поместий, в праздности и избытке, нисколько не заботятся об обработке земли и не несут никакого труда, необходимого для существования. Эти люди вредны во всякой республике и во всяком городе. Но еще вреднее те, которые кроме упомянутого имущества владеют замками и имеют подданных, им повинующихся. Теми и другими полны Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. В таких странах никогда не существовало никакой республики и никакой политической жизни (*vivere politico*), ибо эта порода людей — заклятый враг всякой свободной гражданственности (*d'ogni civiltà*\*\*)... Кто захочет создать республику там, где много дворян, должен предварительно истребить их всех, и кто захочет создать королевство или вообще единоличную власть там, где царит равенство, сможет сделать это не иначе, как взяв из среды равных большое количество людей честолюбивых и беспокойных и сделав их дворянами, притом не на словах только, а на деле, т. е. одарив их замками и поместьями, дав им денежные пожалования и людей».

И чтобы не оставалось сомнений, какой класс он противопоставляет дворянам, Макиавелли к общему рассуждению прибавляет несколько слов о Венеции. Венеция вовсе не опровергает положения, что дворяне не уживаются при республиканском строе, ибо «дворяне в этой республике — дворяне больше на словах, чем на деле: у них нет больших доходов с поместий, а их крупные богатства зиждятся на торговле и состоят из движимости (*fondate in sulla mercanzia e cose mobili*); кроме того, никто из них не владеет замками и не имеет никакой вотчинной власти (*alcuna iurisdizione*) над людьми»\*\*\*.

\* *Discorsi*. Кн. I. Гл. 55. Он повторил те же соображения, но в несколько ином плане в «*Discorso sopra il riformar lo stato in Firenze*». См. об этом ниже.

\*\* «*La civiltà*» у историков и политических писателей XVI века всегда содержит в себе в той или иной мере представление о свободе.

\*\*\* Карл Маркс, который вообще высоко ценил Макиавелли, внимательно читал «*Discorsi*» и делал из книги много выписок. Из этой главы он сделал целых три. См. об этом статью В. Максимовского: *Максимовский В. К.* Маркс: выписки из сочинений Макиавелли // *Архив К. Маркса и Ф. Энгельса*. Кн. IV. 1929. С. 332—351<sup>26</sup>.

Это противопоставление Венеции и тосканских республик как областей, где царит «равенство» и где богатство «зиждется на торговле», тем частям Италии, где существование многочисленного дворянства создает условия, благоприятные для феодальной организации власти, формулирует самую острую тревогу Макиавелли. Его заботит, конечно, прежде всего Флоренция.

Соотношение общественных сил в Ломбардии, на юге и в Папской области было таково, что усиление феодальных влияний в это время уже не пугало руководящие общественные группы, а встречало с их стороны сочувствие. В Венеции напора феодальных сил не очень боялись, ибо правящая буржуазия не подвергалась такому расслоению, как во Флоренции, и потому силы экономического и политического сопротивления в республике не были подорваны. Во Флоренции буржуазия не только раздиралась чисто экономическими противоречиями. Обстоятельства, при которых произошло крушение режима пожизненного гонфалоньерата, показали, что самому «равенству» в республике грозит величайшая опасность. Падение Содерини было результатом напора рантьерской крупной буржуазии, интересы которой попирались политикой Большого Совета. Но падению режима активно содействовали силы, планомерно насаждавшие в Италии феодальную реакцию: Прато пал под ударами испанцев. Между Испанией и Медичи, лидерами рантьерской буржуазии, установилась некая солидарность. А это несомненно служило признаком, что верхи буржуазии, пособники Медичи, захватившие власть после переворота 1512 года, находятся если не целиком, то в значительной мере в лагере феодальной реакции\*. Укрепление и развитие этой тенденции грозило разрушить во Флоренции «равенство», т. е. лишить группы торгово-промышленной буржуазии всякого участия в организации власти. Реставрации 1512 года захватила их врасплох. Сторонники Медичи сейчас же после победы торопились восстановить хозяйственную основу своего господства и отбирали прежние свои поместья у тех, кто их скупил. Тому классу, который Макиавелли считал носителем идеалов республиканской свободы и равенства — торгово-промышленной буржуазии — грозил полный разгром.

---

\* В 1530 году, после падения Флоренции, комиссары медичейские в своих донесениях папе Клименту VII будут изображать победу над республикою как «торжество дворянства (*nobilita*) над народом». См.: *Anzilotti*. Указ. соч. С. 21.

С этими группами буржуазии Никколо связал свою судьбу. И все его мысли ближайшим образом были направлены на одно: спасти флорентийскую буржуазию, не вовлеченную в орбиту действия феодализирующих факторов, от ударов феодальной реакции.

На первый взгляд этому противоречит то, что Никколо очень скоро после переворота 1512 года стал заискивать у Медичи и проситься к ним на службу, что он посвящал им свои сочинения, а позднее принимал от них не только литературные, но и политические поручения. Объясняются эти вещи просто. Никколо никогда не предполагал, что, если Медичи возьмут его на службу, он сможет получить влиятельный пост, а литературные посвящения высоким особам были вполне в духе времени и ни к чему не обязывали. Записка о реформе государственного строя во Флоренции, которую он подал Льву X по инициативе кардинала Медичи в 1515 году\*, была попыткой убедить папу в необходимости дать больше доступа к власти торгово-промышленным группам, т. е. полностью продолжала его всегдашнюю политическую линию. Что касается деятельности Никколо в 1526—1527 годах, то тут ему совсем не приходилось кривить душой и изменять своему классу, потому что политика Гвиччардини и папы в период Коньякской Лиги была — мы увидим ниже — его политикою. Дело шло о том, быть или не быть независимой Италии, а в этом вопросе его группа была заинтересована больше, чем другие. С другой стороны, спасти нужно было прежде всего ее, потому что Никколо лишь ее одну считал способной осуществить национальные задачи Италии. Но именно она не поняла, что побудило Макиавелли поступить в 1526 году на службу к Медичи, и после изгнания Медичи отлучила его от всякой политики.

При Содерини приходилось считаться главным образом с правой опасностью. Опасности слева торгово-промышленная буржуазия не ощущала сколько-нибудь остро. Низшие группы ремесленников, как и рабочих, она вела за собой. Партия Савонаролы, i riagnoni<sup>27</sup>, не чувствовала под собой такой крепкой почвы, как при жизни своего пророка, и не могла оспаривать у буржуазии руководства беднейшими классами, а так как экономическая конъюнктура была очень неблагоприятна ей самой, то противиться буржуазии она была не в состоянии. Напора слева и борьбы с неимущими поэтому не было. И в актуальных публицистических выступлениях Никколо, прежде всего в

\* Discorso sopra il riformar lo Stato in Firenze.

«Discorso sopra il riformar lo Stato», la plebe не играет никакой роли \*. В сущности весь демократизм Макиавелли только в том и заключается, что он не призывает к борьбе с plebe. Но и защиты прав этого plebe нельзя найти у него нигде. Он за popolo, т. е. за верхних три тысячи, которые ведут за собою, и не очень мягко, низшие классы. И едва ли мы ошибемся, если признаем, что с его точки зрения это — наиболее нормальное соотношение между popolo и plebe. Как он относится к такому режиму, где власть полностью принадлежит plebe, мы увидим из тона его повествования о чомпи в «Истории Флоренции». А рассуждения в «Discorsi», которые обычно приводятся в доказательство демократизма Макиавелли, его практическую позицию определяют в малой мере, если вообще определяют. Правда, у него говорится, что масса (la moltitudine) более умна и более постоянна, чем государь; это очень хорошее подтверждение его республиканизма, но недостаточное для доказательства его демократизма \*\*.

А все восхваления plebe (особенно в Discorsi. Кн. I. Гл. 6) относятся исключительно к римским условиям, т. е. к таким, где существовала армия, составленная из этой самой plebe. Ради возможности иметь постоянные войсковые кадры, необходимые для завоевательных войн, приходится терпеть — только терпеть, tollerare — столкновения между «народом и сенатом», т. е. давать «народу» некоторую свободу бороться за свои права. Значит, там, где «необходимость» не «толкает на завоевания», этого терпеть не нужно. Для Флоренции такой «необходимости» Макиавелли не видел. Он отлично понимал, что при тех обстоятельствах, в которых находилась Италия, поставленная лицом к лицу с сильными национальными государствами, ей не приходится говорить о «римском величии» (romana grandezza), хотя это, быть может, «путь чести» (parte più onorevole). Флоренция же не смела, конечно, и мечтать о каких-либо завоеваниях после того, как она четырнадцать лет покоряла Пизу и в конце концов вынуждена была купить ее у французов, а перед тем, тоже за деньги, переняла от французов взбунтовавшийся Ареццо. Во Флоренции не было причин давать волю низшим классам. Наоборот, не очень давняя история

\* Там говорится (*Machiavelli N. Opere. 1619. Vol. VI. P. 75*) «о третьем и последнем классе людей, который охватывает всех граждан» («terzo ed ultimo grado degli uomini, il quale e tutta universalità dei cittadini»), т. е. о полноправном popolo, для которого нужно «открыть залу» Большого Совета.

\*\* Discorsi. Кн. I. Гл. 58.

очень красноречиво говорила, что в городе имеются предпосылки — их Рим не знал — для чрезвычайно опасного брожения социального характера — восстания рабочих против предпринимателей. Оно могло подорвать благосостояние города, лишить его богатства, т. е. того оружия, которым при всяких столкновениях Флоренция оперировала с наибольшим успехом. Макиавелли и думал, что политикою сегодняшнего дня по отношению к низшим классам должна была быть та, которая проводилась во Флоренции и о которой в той же главе «Discorsi» говорилось так: «Правящие держали их в узде и не пользовались ими ни в каких делах, где бы они могли взять власть». И только потому, что Макиавелли не говорит прямо о необходимости борьбы с plebe, эта его точка зрения не так бросается в глаза. Едва ли все это достаточный аргумент в пользу его демократизма. Он был и остался до конца последовательнейшим идеологом торгово-промышленной буржуазии, и демократом отнюдь не был.

За время своей службы и позднее, будучи и в центре политического штаба Флоренции и вдали от дел, Никколо копил наблюдения из области партийной борьбы, и они постепенно складывались у него в обобщения, которые можно назвать социологическими, хотя и с оговорками, ибо они больше вскрывают физиологию политической борьбы, чем ее социальную сущность, и больше ее механику, чем диалектику. Они, в свою очередь, помогали ему найти политические конструкции, которые были ему нужны. Их он дал в больших трактатах. Мы рассмотрим сначала социологию, потом политическую теорию.

## VII

5 октября 1502 года Никколо получил приказ отправиться в Имолу к Цезарю Борджа с рядом поручений. Ему, как всегда, не хотелось ехать. Он только что женился. Человек, к которому его посылали, пользовался такой устрашающей славой, что бедному секретарю было заранее не по себе. Выгод от миссии он не предвидел никаких, хлопот — очень много. Но нужно было подчиняться. Никколо выехал, перечитывая свою инструкцию. Там в конце стояло такое предписание\*: «Когда тебе представится удобный случай, ты будешь от нашего имени ходатайствовать перед его светлостью о том, чтобы в принадлежащих

\* *Machiavelli N. Opere. 1805. Vol. V. P. 191—192.*

ему областях и государствах была обеспечена охранной грамотою безопасность имущества наших купцов, едущих к Леванту или обратно. Так как это вещь очень важная и является, можно сказать, желудком нашей республики (*lo stomacho di questa citta*), то нужно приложить все старания и пустить в ход все усилия, чтобы результаты получились согласно нашему желанию».

Макиавелли едва ли нужно было напоминать, что составляет — говоря словами Лассалья — «вопрос желудка», *Magenfrage* флорентийской коммуны. Он, конечно, и сам давно додумался до этой нехитрой мысли, иллюстрации которой он видел на каждом шагу.

Классовая борьба, которая кипела вокруг него, давно открыла Никколо основную причину социальных противоположностей. Если бы ему была известна современная терминология и если бы он излагал эти вопросы в привычной для нас системе, мы бы нашли в его сочинениях много хорошо знакомых социологических инструкций.

Прежде всего, Макиавелли отлично знает, что самый могущественный стимул людских действий — интерес. В главе 19-й «*Il Principe*» говорится: «До тех пор пока у народа (*universalita degli uomini*) не отнимают ни имущества (*robba*), ни чести, он спокоен». Почти буквально повторяется эта мысль в «*Discorsi*», в главе о заговорах (Кн. III. Гл. 6): «Имущество и честь — две вещи, отнятие которых задевает людей больше, чем всякая другая обида». В обоих этих афоризмах «интерес» не отделяется от «чести», причем честь имеется в виду специальная. «Государя, — читаем мы в той же главе «*Il Principe*», — делают ненавистным больше всего, как я указывал, покушения на имущество и на женщин его подданных и насильственное их присвоение». А в главе об аграрных законах в Риме (*Discorsi*. Кн. I. Гл. 37) говорится резко: «Из этого еще раз можно убедиться, насколько люди больше ценят имущество, чем почести». Честь и почести (*onore* и *onorì*), конечно, не одно и то же, но имущество в этой сентенции стоит уже определенно на первом месте. Та же мысль — в «*Il Principe*» (Гл. 17): «Больше всего (государю) не следует покушаться на имущество других, ибо люди скорее забудут смерть отца, чем лишение имущества». Впервые, по-видимому, такая формула пришла в голову Макиавелли как практический аргумент в минуту, очень для него тяжелую: в 1512 году, когда падение Содерини уже совершилось, но он не был еще лишен своей должности, Никколо обратился к кардиналу Медичи, будущему Льву X, с письмом,

в котором он пытался остудить реставрационный пыл новых хозяев Флоренции. Там говорится: «Уже назначены чиновники, которые должны разыскивать и возвращать имения Медичи. Эти имения находятся сейчас в руках людей, которые их приобрели и законным образом ими владеют. Отобрение их породит непримиримую ненависть, ибо люди больше сокрушаются о потере поместья, чем о смерти брата или отца» \*. В трактатах эта формула воспроизводится в распространенном виде: не поместье только, а имущество вообще людям дороже всего на свете. Действия людей управляются интересом.

Из этого основного положения нетрудно было — жизнь подсказывала — вывести другое. Если имущество людям дороже всего, то те, у кого его нет, естественно стараются им обзавестись, а те, у кого оно есть, стараются его сохранить. Так как эти стремления непримиримы и так как стимулы их неустранимы, то неминуема борьба. «Масса (la moltitudine) скорее готова захватить чужое, чем беречь свое, и людьми больше двигает надежда на приобретение, чем страх потери, ибо потере, если только она не близка, не верят, а на приобретение, хотя бы оно было далеко, надеются» \*\*. «Людьми недостаточно вернуть свое: они хотят захватить чужое и отомстить» \*\*\*. Борьба, которая вспыхивает, естественно получает характер борьбы классов. Волнения, в которые она выливается, «чаще всего бывают вызваны имущими (chi possiede), ибо страх потери рождает и них те же побуждения, которыми полны стремящиеся к приобретению. Ведь людям кажется, что обладание тем, что у них есть, не обеспечено, если они не приобретают вновь и вновь. Кроме того, владеющие многим имеют больше возможностей и больше побуждений (moto), чтобы производить перемены (alterazione). Вдобавок их неблагоприятные (scorretti) и честолюбивые повадки (portamenti) зажигают в сердцах неимущих (chi non possiede) стремление обзавестись средствами либо для того, чтобы, отняв у богатых их достояние, отомстить им, либо чтобы самим приобщиться к богатству и почестям, которыми другие пользовались, на их взгляд, неправильно» \*\*\*\*. Трудно без четких социологических формулировок, время которых еще впереди, яснее выразить мысль, что в основе борьбы

\* См.: Villari. Vol. II. P. 185.

\*\* Storia Fiorentina. Кн. IV. Гл. 18.

\*\*\* Ibid. Кн. III, II.

\*\*\*\* Discorsi. Кн. I. Гл. 5. Начало цитаты выписано Марксом. См.: Максимовский В. Там же<sup>28</sup>. Интересна мысль, что нападающей стороной в классовой борьбе являются не бедные, а богатые.

классов из-за власти («почестей»), т. е. политической борьбы, лежат мотивы экономические.

Классовые противоположности и классовая борьба, то, что Макиавелли обозначает словом *disunione*, являются душой истории. Ибо «в каждой республике существуют два различных устремления (*umori diversi*): одно — народное, другое — высших классов (*dei grandi*), и все законы, благоприятные свободе, порождены их борьбой (*disunione*), как нетрудно видеть на примере Рима»\*. Возвращаясь к этой мысли в «Истории Флоренции» (Кн. VII. Гл. I), Макиавелли утверждает, что ни одна республика не может быть вполне единой внутренне и существовать без общественных группировок (*divisioni*). Эти группировки он считает явлением нормальным и при известных условиях благотворным и придает им огромное значение как историческому фактору. Мысль эта подчеркнута с самого начала, в предисловии к «Истории Флоренции». Там, критикуя своих предшественников, Бруни и Поджо, он говорит: «В описаниях войн... они очень старательны, но раздоры гражданские, внутренняя борьба (*civili discordie e intrinseche inimicizie*) и результаты, ими порожденные, частью обойдены молчанием совершенно, частью изложены настолько коротко, что читатели не получают ни пользы, ни удовольствия».

Вообще, вся «История Флоренции» в сущности является иллюстрацией *avant a lettre*<sup>30</sup> к тезису «Коммунистического манифеста», что история всего предшествующего общества есть история борьбы классов. Недаром Маркс назвал эту книгу «высокомастерским произведением»\*\*.

Чтобы было ясно, с какой сокрушительной для своего времени отчетливостью представлял себе Макиавелли эти вещи, мы приведем замечательный отрывок из рассказа о восстании чомпи\*\*\*. Он будет немного длинный, но он того стоит.

«Пока происходили эти события, возникло другое волнение, которое нанесло республике ущерб гораздо больший, чем первое. Поджоги и грабежи последних дней большей частью были делом рук городских низов (*infima plebe della città*). Когда глав-

\* *Discorsi*. Кн. I. Гл. 4. Место выписано Марксом. См.: *Максимовский В.* Там же<sup>29</sup>.

\*\* В письме к Энгельсу от 25 сентября 1857 г. Цитировано у Максимовского (*Максимовский В.* Там же. С. 332)<sup>31</sup>.

\*\*\* Восстание чомпи 1378 г. — первая в истории попытка рабочего класса захватить политическую власть. См.: *Дживелегов А.* Начало итальянского Возрождения. С. 142—155. Отрывок взят из «Истории Флоренции» (Кн. III. Гл. 12—13).

ные раздоры утихли и улеглись, самые дерзкие из них стали бояться, что их постигнет кара за проступки, ими совершенные, и что они, как это часто бывает, будут покинуты теми, кто толкал их на злодеяния. К этому еще присоединялась ненависть, которую неимущие (*popolo minuto*) питали к богатым гражданам и заправилам цехов\*, ибо они находили, что заработная плата, которую они получают за свои труды, гораздо меньше, чем они по справедливости заслуживают... Те граждане, которые раньше принадлежали к гвельфам\*\* и из среды которых всегда выходили капитаны этой партии, покровительствовали членам старших цехов, а членов младших и их защитников\*\*\* преследовали. Вот почему возникли против них те волнения, о которых мы рассказали. При распределении граждан по цехам многие из тех профессий, в которых заняты неимущие и люди из городских низов, не получили собственной цеховой организации и были подчинены различным цехам, к которым эти классы по своим профессиям подходили. Следствием этого являлось, что, когда люди не были удовлетворены заработной платой или подвергались тем или иным притеснениям со стороны хозяев, им некуда было обратиться, кроме как к начальству того цеха, которому они были подвластны. И казалось им, что с его стороны им не оказывается справедливость, на какую они считали себя в праве рассчитывать. Из всех цехов имел и имеет больше всего подвластных — цех суконщиков (*Lana*). Это самый могущественный и первый по влиянию между всеми. В его промышленных предприятиях находили и находят хлеб большая часть неимущих и людей из городских низов.

Таким образом, люди низших классов, подчиненные как цеху суконщиков, так и другим, по указанным причинам были полны недовольства. К этому присоединялся еще страх, порожденный поджогами и грабежами, ими учиненными. Поэтому они неоднократно собирались по ночам, обсуждали недавние происшествия и указывали друг другу на опасность, в какой они находятся. Один из наиболее смелых и бывалых, чтобы ободрить других, сказал следующее: “Если бы нам нужно было обсуждать вопрос, следует ли братья за оружие, жечь и гра-

---

\* Имеются в виду исключительно старшие цехи, широко пользующиеся в своих мануфактурах пролетарским трудом: *Lana*, *Calimalla*, *Seta*.

\*\* Правящая политическая группировка.

\*\*\* Лидеров мелкой буржуазии: Медичи, Альберти, Дини, Скали и др.

бить дома граждан, громить церкви\*, я примкнул бы к тем, кто полагал, что об этом нужно очень подумать, и, может быть, согласился бы, что спокойную бедность следует предпочесть опасной наживе. Но так как оружие пущено в ход и много дурного совершено, то мне кажется, нужно говорить о том, как сделать, чтобы не складывать оружие и не быть в ответе за содеянное. Думаю, что если никто не сумеет предложить выхода, его укажет нам сама необходимость. Вы видите, что весь город полон против нас злобы и ненависти. Граждане сближаются между собою, и Синьория все время заодно с цеховыми властями. Будьте уверены, что нам расставлены ловушки и опасность угрожает нашим головам. Поэтому мы должны думать о двух вещах и поставить себе две цели: одна — это не быть в ответе за то, что мы совершили, другая — получить возможность жить более свободно и более обеспеченно, чем прежде. И нам следует, мне кажется, если мы хотим получить прощение за прежние грехи, натворить новых, удвоить зло, нами сделанное, умножить поджоги и грабежи и постараться во всем этом набрать как можно больше соучастников. Ибо, где грешат многие, никто не подвергается возмездию. Малые проступки влекут за собою наказание, большие — награду. Когда страдают многие, о мести думают единицы, ибо общие невзгоды переносятся с большим терпением, чем отдельные. Если мы умножим причиненное нами зло, мы легче добьемся прощения и найдем средства получить то, что мы хотим иметь для обеспечения нашей свободы. И мне кажется, что мы на пути к верному успеху, ибо те, которые могли бы нам помешать, разъединены и богаты. Их разъединенность даст нам победу, их богатства, когда станут нашими, помогут ее удержать. Не давайте затуманить себе голову разговорами, которыми они хотят нас унижить: что в их жилах течет древняя кровь. Все люди одного происхождения и, значит, совершенно одинаковой древности, и природа создала их по одному образцу. Разденьте всех догола, и вы увидите, что все похожи друг на друга. Облачите нас в их одежды, а их в наши — разумеется, мы будем иметь вид знатных, а они — худородных. Ибо только бедность и богатство создают неравенство между нами. Мне очень неприятно чувствовать, что многие из вас в глубине души раскаиваются в том, что они сделали, и не хотят принимать участия в таких же новых деяниях. И если это верно, то я скажу, что вы не те люди, которых я ду-

---

\* В церкви некоторые из богатых людей сносили свое имущество. Когда народ об этом узнал, церкви подверглись разгрому.

мал в вас найти. Вас не должны смущать ни совесть, ни бесчестие. Потому что победители, каким бы способом они ни победили, никогда не несут позора. И нечего обращать внимание на угрызения совести, ибо там, где приходится, как нам сейчас, бояться голода и тюрьмы, нет и не может быть места страху перед адом. А если вы вникнете в поступки людей, вы увидите, что все, которые достигли больших богатств и большой власти, добились этого либо вероломством, либо насилием, и захваченное обманом или силою они, чтобы скрыть недостойные способы приобретения, лживо называют теперь заработанным. Те же, кто по малому разумению или по чрезмерной глупости избегают таких способов, все больше погружаются в порабощение и в нищету. Потому что верные рабы — всегда рабы, а хорошие люди — всегда бедны. От порабощения никогда не освобождается никто, кроме вероломных и дерзких, а от нищеты — никто, кроме воров и мошенников. Бог и природа поместили счастье людей у всех под руками, и оно легче достается грабежу, чем трудовой жизни, легче дурным поступкам, чем хорошим. Из этого вытекает, что люди пожирают друг друга, и маленькому человеку живется все хуже и хуже. Вот почему нужно пускаться в ход силу, когда к этому представляется возможность, и никогда судьба не даст нам к этому большей возможности, чем сейчас, когда среди граждан царят раздоры, когда Синьория колеблется, а власти не знают, что делать. И пока они объединятся и соберутся с духом, ничего не стоит их раздавить. Тогда мы окажемся полными господами города и получим такую долю власти, что не только прежние проступки будут нам отпущены, но мы еще получим право и возможность грозить им новыми бедами. Я признаю, что этот путь — смелый и рискованный. Но там, где давит необходимость, — разумная дерзость есть благоразумие, и в великих делах мужественные люди никогда не считаются с опасностью. А те предприятия, которые начинаются с опасностей, кончаются торжеством, ибо никогда без опасности нельзя покончить с опасностью. Мне кажется к тому же, что в момент, когда готовятся тюрьмы, пытки и казни, страшнее ждать этих вещей, ничего не делая, чем пытаться их избежать. В первом случае беда придет наверняка, во втором — она сомнительна. Сколько раз приходилось мне слышать ваши жалобы на скупость ваших хозяев и на несправедливость цеховых властей. Теперь как раз настал момент не только освободиться от тех и от других, но и стать настолько выше их, что они будут бояться вас больше, чем вы их. Возможность для этого, которую нам предоставляет случай, улетает и, когда она

исчезнет, вы тщетно будете стараться поймать ее снова. Вы видите приготовления ваших противников. Предупредим же их намерения. Кто первый возьмет оружие, несомненно победит: враг будет сокрушен, и торжество ваше будет полное. Многим достанется честь, всем — безопасность”».

Нетрудно видеть, что в этом отрывке воспроизводятся в более зрелой и законченной форме замечания, разбросанные в «Князе» и в «Рассуждениях о Тите Ливии». И сколько боевых лозунгов, гремевших на всех аренах классовой борьбы вплоть до наших дней, нашли на этих удивительных страницах свое первое выражение!

### VIII

Культура Возрождения — культура итальянской коммуны. Мировоззрение Возрождения — мировоззрение, отвечающее нуждам коммуны. Оно эволюционировало, как эволюционировала коммуна. Оно становилось сложнее и разнообразнее, по мере того как разнообразнее и сложнее становились социальные группировки в коммуне.

Политическая мысль Возрождения — одна из граней его мирозерцания — отражает процесс усложнения социальных группировок в коммунах очень явственно. Коммуна — республика. Господствующая в ней группа — буржуазия, торговая и промышленная. Свобода хозяйственной деятельности — это то, чем буржуазия дорожит больше всего. Если чистая республиканская форма может обеспечить эту свободу, она сохраняется. Если не может, она уступает место тирании или, как гласила терминология, синьории, т. е. опирающейся на буржуазные группы единоличной власти. Синьория может придать себе аппарат, привычный для монархии, т. е. обзавестись титулом через императора или папу, двором, церемониалом, и может сохранить всю видимость республиканского строя, будучи в действительности властью вполне единоличной: смотря по тому, насколько тут или там сильны социальные пережитки феодализма. Но одно обще всем синьориям: она обеспечивает буржуазным группам экономическую свободу. Политические идеи XV века, т. е. преимущественно идеи гуманистов, не вскрывают истинной картины политических отношений, и если судить по ним, то будет казаться, что республиканская форма стоит так же незыблемо, как в разгар борьбы гвельфов и

гибеллинов. Это значит, что буржуазии неуютно было, чтобы подчеркивалась утрата ею политической свободы. Тем не менее даже в политических высказываниях гуманистов можно уловить различные оттенки. Треченто во Флоренции провозглашает резко республиканскую и резко тираноборческую точку зрения. Боккаччо говорит о том, что «нет жертвы, более угодной богу, чем кровь тирана». Салютати пишет целый тираноборческий трактат. В XV веке, особенно после того, как во Флоренции установилась синьория Медичи, флорентийские гуманисты смягчают свои тираноборческие высказывания, но республиканская платформа остается у них незыблемой: первые Медичи очень любили, когда про их правление говорили, что оно республиканское. Поджо противопоставляет флорентийскую «свободу» тирании миланских Висконти и вступает в полемику с феррарским гуманистом Гуарино о сравнительных достоинствах Сципиона и Цезаря<sup>32</sup>. Первого он защищает как последовательного республиканца<sup>33</sup>. <...> Точка зрения Гуарино обратная. Он живет в Ферраре, а синьория д'Эсте одна из самых откровенных<sup>34</sup>. Такие уклончивые, скользкие отражения политического бытия сделались невозможны после того, как во Флоренции отгремели классовые бои савонароловского четырехлетия и со всей определенностью обозначались классовые группировки сначала пожизненного гонфалоньерата, потом медичейской реставрации. Теперь политическая доктрина, которая берется оценивать положение, должна отличаться четкостью классовой точки зрения; это — главное требование, к ней предъявляемое. Поэтому все, кто выдвигает ту или иную политическую доктрину, считают себя обязанными не скрывать своей классовой точки зрения: и Гвиччардини, и Веттори, и Джанотти, и Нерли, и остальные.

Но лишь один Макиавелли сумел придать своим высказываниям такую глубину, при всей их яркой злободневности и классовой определенности, что его теория не только сделалась политической доктриной Возрождения, но и положила начало политике как научной дисциплине.

Основные линии его теории даны в «Discorsi» и в «Il Principe», к которым примыкает «Arte delle guerra», а злободневные ее моменты со всей силой непосредственности вырисовываются в письмах к Веттори и в «Рассуждении о конституционной реформе во Флоренции».

Интересы буржуазии требуют, чтобы в городе, как Флоренция, благосостояние которого выросло на торговле и промышленности, была республика, а не монархия. Монархия (наслед-

ственная) — вообще форма «жалкая» (*trista*; *Discorsi*. Кн. III. Гл. 8), и о ней Макиавелли не любит говорить. Но совершенно недостаточно сказать, что республика лучше монархии, ибо самое важное — организация республиканского управления, т. е. в конечном счете распределение государственной власти между социальными группами. Нет необходимости излагать то, что у Макиавелли говорится о свободе и равенстве: это хорошо известно\*. Также хорошо известно, какие усилия должен был делать Макиавелли, чтобы обосновать и оправдать республиканскую точку зрения в «Истории Флоренции», посвященной Клименту VII Медичи. Гораздо важнее то, как он себе представляет социальную базу республики в таком городе, как Флоренция. Мы видели, как он боится дворянства, т. е. феодальных классов, и как мало у него симпатии к народным массам. В республике, которая хочет благоденствовать, дворянство нужно искоренять, а массы взять в руки. Сделать это должна буржуазия, не тронутая феодализирующими процессами, — во Флоренции, следовательно, не рантьерская часть буржуазии, а торгово-промышленный класс. Он — настоящий хозяин политической сцены, ибо его активность поддерживает экономическое процветание государства. В записке о реформе конституции Никколо развивает эту точку зрения как программу сегодняшнего дня. Необходимо «открыть вновь залу Совета», т. е. восстановить Большой Совет, основной орган савонароловско-содериньевской конституции\*\*, враждебный рантьерской буржуазии и очень ловко маневрировавший с массами. Так как реставрация Медичи в 1512 году была произведена рантьерскими группами, то откровенная защита интересов других групп перед папою Медичи с самого начала не могла рассчитывать на успех. Записке не было дано ходу, хотя династические интересы Медичи в ней довольно искусно — и не очень искренно — оградялись.

В 1512 году торгово-промышленная буржуазия во Флоренции была вытеснена со своей господствующей позиции и подверглась жесточайшему финансово-экономическому ущемлению. Этого мало. Не только во Флоренции, но и всюду в Италии, за исключением Венеции, феодализирующие процессы

\* На русском языке кроме общих курсов по истории политических учений можно указать хорошее изложение теории Макиавелли в статье В. Максимовского «Идея диктатуры у Макиавелли» (*Максимовский В. Указ. соч. // Историк-марксист. Т. 13. 1929*)<sup>35</sup>.

\*\* См.: *Machiavelli N. Opere. 1819. Vol. VI. P. 75.*

надвигались все ближе и давили на буржуазию, а в Венеции буржуазия страдала с каждым годом больше от неблагоприятной международно-хозяйственной конъюнктуры. Но и этого мало. Италию теснили враги, чужеземцы, отсталые экономически и поддержавшие в Италии феодальные и легко поддающиеся феодализации группы. Они сидели очень крепко на юге и почти не покидали севера.

Неаполь после Гарильяно (1503)\* даже перестал быть ареною военных действий. Там уже хозяйничал испанский вице-король. Тем беспощаднее бушевала военная непогода на севере. После Камбрейской Лиги и Аньяделло (1509)<sup>36</sup> война там не прекращалась надолго, до самого Сассо<sup>37</sup> 1527 года. Менялись лишь ее плацдармы и участники. Французы, испанцы, швейцарцы, немецкие ландскнехты — все побывали там, и мелкие династии не знали, чей сапог им целовать. Последовательно, кусок за куском разорялась итальянская земля. Чем дальше, тем становилось хуже. Создавалась угроза самостоятельному политическому бытию Италии, а с ней хозяйственной самостоятельности и политической свободе торгово-промышленной буржуазии. Феодальные и наполовину феодализованные группы севера и юга приветствовали чужеземное завоевание, т. е. изменяли Италии. Только буржуазные, притом исключительно торгово-промышленные, группы, подчиняясь своей внутренней хозяйственной и классовой логике, не могли принять завоевание и изменить родине. Спасение родины совпадало с классовыми интересами буржуазии, т. е. с классовой позицией Макиавелли.

Италия не могла обороняться. Почему? Этот вопрос задал себе Никколо. Мы знаем его ответ: во-первых, потому, что в Италии нет политического единства, а во-вторых, потому, что в Италии нет своей, не наемной, национальной армии. Что же было делать? Ответ опять-таки был беспощадно ясен: создать единство и создать армию. Для этого нужно было указать практические способы. Думая над ними, Макиавелли положил основание политической науке, подобно тому как Колумб, отыскивая пути в Индию, нашел Америку.

Поездки во Францию и в Германию, вместе с опытом, полученным за время осады Пизы, проверенные на классиках и на истории итальянской коммуны в Средние века, дали Макиа-

---

\* О войнах между французами и испанцами из-за Италии на итальянской почве и о Камбрейской Лиге, организованной папою Юлием II против Венеции, см. в тексте «Князя».

вели отправные точки зрения. Их он изложил раньше всего в виде беглых набросков в двух коротеньких очерках о Франции и Германии. В дальнейших думах и в больших трудах эти точки зрения созрели все больше и больше и сообщали его докторине ее основные линии.

Собственная, не наемная, а национальная армия. Это — заветная мысль Никколо. С первых своих шагов в должности секретаря Десяти, когда он стал присматриваться к операциям по осаде Пизы, он пришел к заключению, что наемные войска никуда не годятся, и начал энергичную агитацию за создание милиции. По его настоянию Содерини провел соответствующий закон, была назначена так называемая *Ordinanza*, душой которой сделался он сам; он стал набирать солдат. В организации милиции было допущено много промахов, но Макиавелли смотрел на них как на «детские болезни», и его не разочаровывали даже такие факты, как падение Прато (1512), гарнизон которого — цвет его милиции — позорно разбежался при первом натиске испанцев. В «*Discorsi*», в книге III, несколько глав посвящено военным вопросам. Целиком трактует о них большой диалог «Военное искусство», «*Dell'arte della guerra*». В «Истории Флоренции», начиная с IV книги, все описания походов превращаются в сплошную филиппику против наемных войск, и Никколо не щадит красок, чтобы представить — иной раз сознательно преувеличивая — в смешном виде битвы кондотьерских отрядов. Огромное большинство анекдотов, характеризующих стратегию и тактику кондотьеров, идут от «*Discorsi*» и «Истории Флоренции». Никколо был уверен, что если довести до конца дело реорганизации армии в Италии, изгнание «варваров» станет легким делом: слишком убедительны были доказательства, которые приносили в Италию французские, швейцарские и испанские войска, организованные именно так, как проповедовал в «Военном искусстве», слегка стилизуя по римским образцам современный опыт, кондотьер Фабрицио Колонна, выразивший собственную точку зрения Макиавелли.

Но армия должна быть в надлежащих руках. Каких? После собирательной деятельности Юлия II Папская область усилилась настолько, что ни одна комбинация итальянских государств не могла ее игнорировать. И осуществить более или менее прочное единение Италии в борьбе с папою было теперь вещь совершенно невозможной. Никколо отлично помнил, что Папская область всегда была элементом разъединения и слабости Италии, и чем она становилась сильнее, тем такое ее

значение возрастало. Он прекрасно доказал это в «Discorsi»\*. Но было одно обстоятельство, в сущности совершенно случайное, которое давало надежду в данный момент воспользоваться именно тем, что всегда было элементом слабости Италии, и попытаться сделать это элементом силы. Начиная с 1513 года и до самой смерти Никколо на папском престоле сидели сначала Лев X, а после годичного промежутка Климент VII, оба Медичи, т. е. государи Флоренции. Папская область и Флоренция оказывались уже объединенными. Формально это была, конечно, личная уния, но фактически — и реальная. Задача, казалось, значительно облегчается. Как же «нужно было вести объединение дальше? Для Макиавелли был ясен ответ и на этот вопрос: так, как Цезарь Борджа в 1502 году — не думая ни о чем, не останавливаясь ни перед чем, объявляя, если нужно, преступление подвигом и вероломство добродетелью, веря, что все будут приветствовать как «bellissimo inganno»\*\* маневры даже худшие, чем ловушка в Синигалии. В «Discorsi» по этому поводу говорится (Кн. III. Гл. 41): «Когда речь идет о спасении родины, должны быть отброшены все соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно (pietoso) и что жестоко, что похвально и что позорно. Нужно забыть обо всем и действовать лишь так, чтобы было спасено ее существование и осталась неприкосновенна ее свобода». В «Il Principe» этот афоризм развернут на несколько глав, одни заглавия которых кричат о том, что Макиавелли «забыл обо всем» и помнит лишь о родине, которой грозит катастрофа. Критика именно этих глав «Il Principe» чаще всего превращалась в вой испуганных проклятий. Из старых мыслителей Гегель был в числе немногих, кто понял диалектическую закономерность тех способов борьбы за итальянское единство, которое рекомендовал

\* Discorsi. Кн. I. Гл. 12: «Никакая страна никогда не может быть единой и счастливой, если она не составляет единую республику или не повинуется одному государю, как Франция или Испания, и причиною того, что Италия находится в ином положении, что она и не единая республика и не управляется единым государем, — исключительно Церковь. Ибо, получив светскую власть и обладая ею, она не сделалась настолько мощной и не обнаружила таких достоинств, чтобы оказаться в силах овладеть остальной Италией и господствовать над нею. А с другой стороны, она не сделалась настолько слабою, чтобы, когда перед нею вставала опасность потерять светскую власть, она не смогла призвать могущественного покровителя для защиты против того, кто в Италии сделался чересчур сильным».

\*\* «Прекраснейший обман» — слова Паоло Джовио.

Макиавелли. «Эту книгу («Il Principe»), — говорит он, — часто отбрасывали с ужасом за то, что она полна максимами самой свирепой тирании. Но в высшем смысле необходимости государственных образований Макиавелли установил принципы, согласно которым должны были в условиях того времени создаваться государства»\*.

Когда писался «Il Principe», для Макиавелли в анализе политики Цезаря Борджа был очень важен один момент. Цезарь был сыном папы: курия финансировала его завоевания и благословляла его аннексии. При Льве X и Клименте VII дело национального и политического обновления могло получить финансовую базу еще более солидную: соединенные средства курии и Флоренции. Поэтому «Il Principe», книга, где и теория принципата, и руководящие указания для «*principe nuovo*»<sup>38</sup>, спасителя Италии, и страстный призыв к изгнанию «варваров», должна была быть посвящена Джулиано Медичи, меньшему брату папы Льва, а когда он умер, была перепосвящена Лоренцо Младшему, племяннику Льва и Климента. Обойти Медичи было невозможно, и выбирать нужно было из таких Медичи, которые — выбор был небогат — были ближе к папам. Не Макиавелли был виноват, что перед ним оказались только эти два бездарных отпрыска славного дома, что именно в них ему нужно было вдохнуть свою *virtù* и их двинуть на политический и патриотический подвиг. Но хотя их имена связались не только с посвящением «Князя», а еще и с аллегориями Микеланджело в капелле Медичи, дело Италии от этого не выиграло. Лоренцо тоже вскоре умер, а когда в 1526 году понадобилось без всякой риторики обнажить меч и вести войска итальянские на врага, от старшей линии Медичи оставались только два малолетних бастарда. Макиавелли и тогда не бросил своей мысли. Он нашел еще одного Медичи, правда, из младшей линии, но на этот раз зато такого, какой был нужен: «человека великих решений», *pigliatore di gran partiti*\*\* — Джованни, кондотьера, начальника Черных отрядов. Но папа Медичи испугался кондотьера Медичи и жезла командования Джованни не получил. А он был способен и бить врагов, не думая ни о чем, и забрать неограниченную власть для осуществления миссии единства, если бы папа не боялся оказать ему поддержку. Но Климент вовсе не хотел оказаться в положении Александра VI,

\* *Hegel. Philosophie der Geshichte. S. 505.*

\*\* *Lett. fam. 204, к Гвиччардини.*

которого Цезарь, родной сын, совершенно подчинил своей воле. Джованни был вылеплен из совершенно такого же теста. Как было вручить ему неограниченную власть?

Между тем для Макиавелли именно в неограниченной власти и было все дело. Создать новое государство, не располагая неограниченной властью, было невозможно. Почему?

Много раз было замечено, что Макиавелли в своих теоретических построениях и в их применении к жизни никогда не останавливается на полдороге, как бы суровы ни оказались те выгоды, к которым приводит его логика. Он идет до конца, сокращая все, как бы подхватывая доносившийся с севера боевой клич: «Напролом!», «*Perrumpendum est!*» — лозунг Ульриха фон Гуттена<sup>39</sup>.

Гуттен, младший собрат по литературным борениям, во многом похож на Никколо. Но была между ними и очень большая разница. Гуттен был рыцарь и бросался вперед очертя голову, едва завидев врага. Политик он был плохой, потому что с рыцарской идеологией трудно было делать политику в момент распада феодального общества. Макиавелли феодальный строй ненавидел, рыцарскую идеологию презирал, был политиком до мозга костей и ковал доктрину по требованиям века. В основе его политической теории лежали идеи, о которых Гуттен не подозревал: представления о классовых группировках и о классовой борьбе. И он знал то, чего не знал Гуттен: что классовая борьба — борьба более ожесточенная, чем та, которая ведется сомкнутым строем в открытом поле или вокруг укрепленных стен. Ибо эта борьба не знает мира. Поэтому лозунги Макиавелли по существу еще более беспощадны и суровы, чем гуттеновское «*Perrumpendum est*». Поэтому ему не страшны никакие выводы, хотя бы они тонули в потоках крови. Непримиимость проводится у него до конца.

Чтобы не была отнята только что завоеванная свобода, необходимо, чтобы были «убиты сыновья Брута». Другими словами, если люди самые близкие, самые дорогие властям нового порядка, самые даровитые во всех отношениях и самые нужные угрожают свободе, они должны быть убиты. «Пьеро Содерини думал, что с помощью терпения и доброты ему удастся преодолеть стремление сыновей Брута вернуться под власть другого правительства, и ошибся»\*. Ибо, кто создает тиранию и «не убивает Брута» и кто создаст свободное государство и «не убивает сыновей Брута», продержится недолго. Если свободное

\* Discorsi. Кн. III. Гл. 3.

государство создается на феодальной почве, необходимо истребить дворянство поголовно\*. И вся свободная от моральных сдержек, безоглядная и твердая линия поведения, которая рекомендуется «новому государю»\*\*, в основе своей таит ту же предпосылку: сохранение государства.

Но если спасти родину от варваров должен государь с неограниченной властью, то как совместить с этим республиканские гимны, которыми полны «Discorsi»? На этом вопросе изощряли свое бессильное злорадство целые поколения лицемеров в разных рясах и в разных ливреях. Но противоречие между республиканскими идеями «Discorsi» и программой «Il Principe» призрачно. Нечего говорить, что его не существует в исходной точке зрения Макиавелли, между его флорентийским республиканизмом, республиканизмом его более тесной родины и сознанием невозможности сильной республиканской власти в Италии, в его более широкой родине. Но противоречия нет и в построении. Власть «principe nuovo» — чрезвычайная и по существу временная. Макиавелли, конечно, не думал, что реальный «новый государь» сложит свои полномочия по истечении срока или окончив задачу, на него возложенную: как диктатор в древнем мире. Кругом себя он не видел Цинциннатов<sup>40</sup> в сколько-нибудь утешительном количестве и легко представлял себе, что бы стало с тем, кто предложил бы такую вещь, например, его великолепному знакомцу, Цезарю Борджа. У Макиавелли идея чрезвычайности и временности власти «нового государя» осуществляется в том, что он после смерти не передает своих полномочий никому\*\*\*. Его диктатура — пожизненная. Основывается государство властью единоличной и неограниченной. Лишь в процессе организации выступает коллектив и устанавливается республиканское управление. Так бывает и в спокойное время. А в момент, переживаемый Италией, в момент, когда она вступила в последний смертный бой за свое политическое бытие, коллективный образ действий при создании нового государства совершенно исключен. Создавать единство

\* Там же. Кн. I. Гл. 55: «non la puo fare, se prima non li spegna tutti» («нельзя этого сделать, если предварительно не истребить их всех»).

\*\* Il Principe. Гл. 18: «Новый государь не может придерживаться такого образа действий, который людям создает добрую славу, ибо для сохранения государства часто бывает необходимо действовать не так, как повелевают верность, милосердие, человечность, религия».

\*\*\* Discorsi. Кн. I. Гл. 6; Discorso sopra il riformar...

страны и в объединенной стране новую власть может только лицо единичное, «*principe nuovo*». Если он справится, после него народ может и в единой Италии заняться организацией свободного государства.

Великолепное видение, приводящее на память хорошо известную картину из героического эпоса. Лежит на земле богатырь, разрубленный злыми врагами на куски. Приходит волшебник с живой и мертвой водою. Поливает тело мертвой водой — оно срастается, поливает живую — богатырь поднимается, встряхнувшись, готовый на новые подвиги. То, что вставало в воображении Макиавелли, было той же картиной, но в политической стилизации. Прекрасное тело Италии разрублено на куски. Но к нему спешит он, новый Мерлин, с двумя кувшинами волшебной воды. Поливает сначала мертвой водою принципата — тело срастается. Италия становится едина. Поливает из другого кувшина живой водою свободы, и в ней загорается новая жизнь.

В других образах, но та же картина рождения из хаоса новой, единой, великой Италии была откровенною мечтою и носилась перед глазами Данте, Колы ди Риенцо, Петрарки. Планы Макиавелли остались такою же мечтою, хотя они были теоретически продуманы гораздо лучше и практически казались осуществимы. Макиавелли вполне верил, когда бросал к ногам «нового государя» осанну итальянской свободе и итальянскому единству\*, что его рассуждения безошибочны и его страстный призыв неотразим. Он ошибался, и мы увидим почему. Но то, во что он верил, то, что он делал, чтобы претворить свою веру в жизнь, то, что он перестрадал из-за этого, поставило его в ряду пророков единства на одно из первых мест. Люди *Risorgimento*\*\*, настоящие кузнецы объединения, сколачивав-

---

\* П *Principe*. Гл. 26: «Мне трудно выразить, с какой любовью будет он (новый государь) принят во всех областях, которые натерпелись мук от этих чужеземных наводнений, с какой жаждою мести, с какой упорной верою, с каким благоговением, с какими слезами! Какие двери закроются перед ним? Какой народ откажет ему в повиновении? Какая зависть ему воспротивится? Какой итальянец откажет ему в почитании? Всем смердит это варварское господство».

\*\* *Risorgimento* — политическое возрождение. Так принято называть эпоху активной борьбы против чужеземных династий, владевших на юге Неаполем, а на севере Ломбардией, Венецией и герцогствами, от первых вспышек карбонарства в 20-х годах до объединения в 1870 г.

шие из кусков тело единой и свободной родины, этого ему не забыли. И помнит, и будет помнить новая Италия. Это она поет у Джозуэ Кардуччи: «Я — Италия, великая и единая. И воспитал меня Никколо Макиавелли»<sup>41</sup>.

...Io sono  
Italia grande e una...  
E m'ha educata  
Niccolò Machiavello...

Почему же в XVI веке не удалось то, что удалось в XIX?

## IX

В феврале 1525 года под Павией французы были разбиты войсками Карла V, и король Франциск попал в плен. Перед Италией встала грозная перспектива, что и север и юг ее окажутся в руках Испании. Стало ясно, что если такое положение удержится и будет санкционировано мирным договором, то все итальянские государства сделаются вассалами Карла. Было бы уже легче, если бы в Миланском герцогстве утвердились французы: оставалась бы надежда, что северные и южные «варвары» перегрызут друг другу горло. Но сейчас, после Павии, нужно было много усилий, чтобы побудить французов к действиям. Венеция, Флоренция, папа, особенно папа, были охвачены жгучей тревогою. Все понимали, что нужно сделать все, чтобы не дать сомкнуться на горле Италии железным клещам. Но все колебались, и папа больше всех. Ибо именно теперь, когда спасение было в величайшей решительности, Климент не находил его в себе и, слушая советников, склонялся то к одному, то к другому мнению. Даже венецианские политики, всегда мудрые, как змий, мудрили чересчур и не действовали.

Только два человека оказались на высоте: Гвиччардини и Макиавелли.

Гвиччардини был в это время «президентом», т. е. генерал-губернатором, Романьи и деятельно занимался водворением порядка в этой дикой папской провинции. Макиавелли, как всегда без денег, после долгой переписки с римскими приятелями, решил ехать к папе, чтобы добиться увеличения гонорара за «Историю», которую он только что кончил. Это было в мае 1525 года. Но, получив аудиенцию, Никколо, находившийся, как и все, под впечатлением маневров испанских войск, стал говорить папе, кардиналам и вообще влиятельным лицам в ку-

рии о необходимости принять меры защиты. И выдвинул два проекта: один об укреплении Флоренции, другой о создании милиции в Тоскане и Папской области. Его доводы были так убедительны, что папа отправил его со специальным бреве<sup>42</sup> к Гвиччардини, чтобы узнать его мнение о возможности набора солдат в Романье. Гвиччардини в принципе очень одобрял идею Макиавелли, но находил ее неприменимой именно в Романье, где это представлялось ему опасным по разным причинам. Кроме того, он боялся, что для тех непосредственных целей, какие имел в виду Макиавелли, нельзя было успеть вооружить и обучить милицию. Никколо не настаивал. Кандидата в «*principe nuovo*» он в этот момент не видел; а оба его проекта в его глазах полный свой смысл получили бы лишь в том случае, если бы их осуществление было поручено именно «новому государю». Он уехал во Флоренцию и занялся другими делами.

Гвиччардини, для которого, наоборот, была важна не программа, а возможность использовать благоприятную ситуацию, продолжал действовать на папу и его советников, добиваясь разрыва с Испанией. Все складывалось счастливо для проектируемого им союза между Римом, Венецией, Флоренцией, швейцарцами, Францией и Англией. Папа постепенно давал себя убедить. С самого начала 1526 года Гвиччардини перебрался из Болоньи в Рим и фактически сосредоточил в своих руках все сложные переговоры о новой лиге. Когда 26 мая договор о лиге был подписан в Коньяке, во Франции, Климент назначил его своим наместником во всей Церковной области и при войске (*luogotenente*)\*. А 18 мая во Флоренции были назначены пять прокураторов по укреплениям, которые избрали канцлером и проведитором своей коллегии Макиавелли. Это был поворотный момент в его жизни. «*Principe nuovo*» по-прежнему не было видно, но опасность для Италии возрастала с каждым днем. Нужно было драться, не думая о программе, так, как когда-то Никколо писал в «*Discorsi*»: забыв обо всем и думая только о спасении родины и ее свободы. Макиавелли не раздумывал. Политическая установка, вытекавшая из факта образования Коньякской Лиги, была его собственной установкой. К ней примкнул Гвиччардини, крупнейший идеолог рантьерской группы, потянувший за собою папу. Лига была направлена

---

\* Булла подписана 6 июня. Деятельность Гвиччардини в период подготовки и действия Коньякской Лиги очень хорошо освещены в книге: *Otetea A. Guichardin, sa vie publique et sa pensee politique. 1926. P. 137 и след.* Текст буллы напечатан там же, стр. 335.

против Испании, т. е. той политической силы, которая — мы знаем — особенно энергично насаждала в Италии феодальную реакцию и была особенно опасна для торгово-промышленных групп. Лига, следовательно, знаменовала собою разрыв — он, правда, оказался временным — между Медичи и рантьерскими группами, с одной стороны, и силами феодальной реакции — с другой. Гвиччардини сделался главным агентом этой политики. Никколо бросился в нее беззаветно, со всей силой своего темперамента. Начался самый кипучий период деятельности обоих друзей. Правда, положение их было разное. Гвиччардини представлял особу папы, Макиавелли имел должность, сравнительно скромную. Но настоящая *virtù* — деятельный энтузиазм, целеустремленная активность — была именно в нем. В нем словно воскресли лучшие представители римской доблести, Камиллы, Цинциннаты, Сципионы, герои его «*Discorsi*». И то, что в чрезмерно рассудительном папском наместнике загорались иной раз столь не свойственные ему искры подъема и воодушевления, объясняется, быть может, тем, что Никколо заражал друга сжигавшим его самого внутренним пламенем; они ведь находились в постоянных сношениях, то письменных, то личных \*. Для Никколо пришла пора вспомнить и о том, что он говорил когда-то в «*Discorsi*» (Кн. I. Гл. 26, 27): «Кто не хочет вступить на путь добра, должен пойти по пути зла. Но люди идут по каким-то средним дорожкам, самым вредным, потому что не умеют быть ни совсем хорошими, ни совсем дурными...» «Люди не умеют быть по-честному дурными или вполне (*perfettamente*) хорошими, и так как в дурном есть доля величия и в какой-то мере оно благородно, — они не умеют отдаться дурному». Эти смелые слова показывают, что, даже спокойно сидя в деревне, Макиавелли ставил общественные критерии выше личных, чуял боевую атмосферу и понимал законы борьбы. Когда речь идет о чем-то очень важном, прежде всего когда речь идет о родине, нужно иметь мужество пользоваться такими средствами, которые обыкновенно считаются

\* Гвиччардини с легкой руки Эдгара Кине (*Quinet E. Révolutions de l'Italie. Vol. II. P. 146 sq.*), смешавшего его с грязью, и Франческо де Санктиса (*De Sanctis F. Nuovi Saggi. P. 201 sq.; Storia della letter. ital. Vol. II. P. 88 sq.*), нарисовавшего такой яркий и такой отталкивающий его образ, пользуется в общем малыми симпатиями у историков вплоть до Томмазини. При оценке его деятельности в войне 1526—1527 гг. отрицательный взгляд на него особенно несправедлив, и поправки к нему А. Отетеа (Указ. соч. С. 212) заслуживают поэтому полного внимания.

дурными, если невозможно добиться цели путями, которые обыкновенно одобряются. И не ползти жалким ужом по безопасным средним тропинкам, на которых легче всего погубить великое дело. «Не бойся греха, если в грехе спасение» — таков смысл афоризмов Макиавелли. И недаром он сошелся в этом с другим борцом, суровым и непреклонным, который заклеил навеки людей средних тропинок, неспособных к добру, бегущих зла, недостойных ни рая, ни ада: ведь это к ним относится приговор Данте Алигьери: «взгляни и пройди» — «guarda e passa»\*.

Теперь, когда Никколо был в центре такого дела, он готов был кинуть вызов всему с большим пылом, чем когда-нибудь, был готов с полной ответственностью идти «путем зла», лишь бы это принесло пользу родине. Но он переживал тяжелые муки, ибо не питал больших надежд на победу и задолго до подписания пакта о Лиге вкрапывал в свои письма к Гвиччардини пророчества о грядущих бедах. Он жил во Флоренции и видел, каково настроение. Люди торопились веселиться, карнавал проходил особенно шумно, и думать о войне не желал никто: это был один из видов оппозиции медичейскому режиму. Помимо прочего, все трусили. «Такого страху насмотрелся я в гражданах и так мало в них желаний сопротивляться тому, кто готовится проглотить их живьем, что...»\*\* Гвиччардини, который в это время гигантскими усилиями проводил свои планы, возмущали колебания папы. «Когда будет упущен удобный случай начать войну, мы все лучше узнаем, какие бедствия принесет нам мир», — писал он Макиавелли и признавался, что теряет ориентацию\*\*\*. Но не терял ориентацию Никколо. Он знает, что друг его ведет в Риме борьбу за смелые решения, и шлет ему полные пригоршни аргументов, прокаленных на огне собственной страсти. Два исхода представлялись ему: или откупиться деньгами, или вооружиться. Первый не годится никуда, «потому что либо я совсем слепой, либо у нас возьмут сперва деньги, потом жизнь»... Что же делать? «Я думаю, что нужно вооружаться без малейшего промедления и не ждать, что решит Франция». В нем все кипит — от мыслей, от темперамента, от нетерпения. «Я скажу вам вещь, которая покажется вам

\* См. остроумные параллели между Макиавелли и Данте в: *Ercole F. La politica di Machiavelli*. 1926. P. 344—351.

\*\* Lett. fam. 200, 15 декабря 1525, к Гвиччардини.

\*\*\* «No perduto la bussola». Lett. fam. 201, 25 января 1526 (1525 флор. ст.).

безумной, предложу план, который вы найдете либо рискованным, либо смешным. Но времена таковы, что требуют решений смелых, необычайных, странных». И набрасывает схему действий: поставить Джованни Медичи, самого решительного кондотьера Италии, во главе войска, дать ему столько солдат, сколько нужно, показать врагам и союзникам, что Италия готова бороться. И тогда Испания с Францией подтянут свои хищные когти\*. Перед ним опять — силуэт «*principe nuovo*». Что скажет папа? Гвиччардини и Филиппо Строцци, которому Никколо писал в том же духе, читали его письма Клименту. Папе план показался чересчур смелым. Но два месяца спустя, когда было упущено столько времени, и испанцы заняли часть миланской территории, Лига была образована, и Джованни Медичи поставлен во главе папской пехоты, на подчиненное место. Как нарочно, все делалось с опозданием и все наполовину.

Макиавелли занялся укреплением Флоренции. С ним был Пьетро Новарра, суровый воин и опытный инженер. Вдвоем они осмотрели все стены, все подступы к городу, и Новарра объявил, что берется сделать из Флоренции самую мощную крепость Италии. План был представлен папе с подробнейшими выкладками, финансовыми и техническими. Тем временем во Флоренцию пришла весть о бунте в войсках императора, и Никколо пишет Гвиччардини письмо, полное вдруг вспыхнувшего, словно ждавшего только повода оптимизма: «Все стали понимать, как легко выбросить из нашей страны этих разбойников (*ribaldi*). Ради бога, не упускайте случая... Вы знаете, сколько было потеряно возможностей. Не теряйте эту. Не думайте, что все делается само собою, не полагайтесь на фортуна и на время». И дальше торжественно, апокалиптическим тоном, по-латыни: «Освободите от вечной тревоги Италию, истребите этих свирепых зверей, в которых нет ничего человеческого, кроме лица и голоса»\*\*.

Но Климент продолжал колебаться, а Макиавеллев план укрепления Флоренции объявил чересчур дорогим. Никколо вышел из себя. В один день, 2 июня, он отправил Гвиччардини целых три письма. Видно, что он с величайшим трудом подбирает мягкие слова для почтительных возражений папе и едва сдерживается, чтобы не назвать его так, как он заслуживал: скрягой и глупцом. Все было напрасно. Флоренция осталась без укреплений, ибо денег Климент так и не дал.

\* Lett. fam. 204, 15 марта 1526. Это письмо Томмазини называет (Т. II. С. 8, 9) «лебединой песней Макиавелли».

\*\* Lett. fam. 107, 17 мая 1526.

Разбитый неудачей, предвидя худшее впереди, Никколо, однако, не падает духом. Отечество в опасности, и он должен отдать ему себя всего без остатка. Дела много. Нужно пробивать упрямство, тупость, самоуверенность, недалёковидность тех, у кого власть. Он снова возвращается к мысли об организации милиции. Под Сиеной большой флорентийский наемный отряд был обращен в бегство кучкою дисциплинированного городского ополчения. Никколо пользуется этим случаем как аргументом. Но уже поздно. Враг приближается. Нужно думать, как спасти незащищенную Флоренцию. Ему приходит в голову смелый план. Быстро и вовремя осуществленный, он обещал верную удачу: вторжение в неаполитанскую территорию\*, чтобы обезоружить вице-короля вместе с дружественными ему Колонна, беспрестанно угрожавшими тылу союзников. Климент отверг и это предложение, за что и поплатился: кардинал Помпео Колонна, его соперник на конклаве, с помощью испанцев ворвался в Рим; солдаты ограбили Ватикан, а папа едва спасся в замке Св. Ангела. Это было небольшой репетицией разгрома следующего года.

На фронте дела тоже шли плохо, несмотря на все усилия Гвиччардини. Французская армия не появлялась. Английская диверсия в Испании была отложена. Швейцарские отряды были незначительны. Венецианские войска находились под командою Франческо Мариа делла Ровере, герцога Урбинского, самого безнадёжного и самого трусливого из итальянских кондотьеров. Папскими войсками командовал граф Рангоне, полное ничтожество. С Альфонсо д'Эсте папа, вопреки настояниям Гвиччардини, не сумел сговориться, а его тайная помощь спасла врагов. Когда ландскнехты Фрундсберга, двигаясь на соединение с Бурбоном, запутались в мантуанских болотах, без пищи, без артиллерии, без военных припасов и их можно было взять голыми руками, Альфонсо послал им хлеба, снаряжение и часть феррарской артиллерии, лучшей в Европе. А его племянник, маркиз мантуанский, Федерико Гонзага, предоставил в распоряжение ландскнехтов необходимые перевозочные средства. Ему хотелось угодить Бурбону, который доводился ему кузеном. Ровере и Рангоне прозевали все, хотя Гвиччардини умолял их атаковать немцев. Джованни Медичи, прямодушный и импульсивный, приходил в ярость. Он таскал за бороды мантуанских сановников, грозился вешать мантуанских при-

---

\* Письмо к Филиппо Строчи, излагающее этот план, до нас не дошло. См.: *Tommasini*. Vol. II. P. 859.

дворных, а самого маркиза поносил при всей его челяди так, что тот жаловался папе. В конце концов, выведенный из терпения, чувствуя, что кругом зреет измена, Джованни решил разорвать оковы, и в декабре 1526 года ударил на Фрундсберга один. Попытка кончилась его гибелью: он был смертельно ранен ядром феррарского фальконета под Говерполо. Макиавелли не раз ездил к Гвиччардини в лагерь союзников и по его поручению ходил уговаривать генералов. Но ничто не могло побороть их трусливого упрямства. Становилось ясно, что проволочки не случайны, а намеренны и скрывают прямое предательство. Герцог Урбинский на эти дела смолоду был мастер.

Макиавелли должен быть и во Флоренции, и на фронте. Он разъезжает непрерывно, забыв годы, забыв болезни — у него камни, — забыв семью. Из лагеря он пишет во Флоренцию, в Рим к Веттори. Из Флоренции к Веттори и в лагерь к Гвиччардини. Слово его все едино. Оно, как звон набатного колокола, несется во все стороны. Бороться до конца и не думать о мире. Сокрушается он только об одном: что генералы не хотят драться и что папа против этого не протестует. Он знает, чего стоит имперская армия. Она хотя и многочисленна, но «если встретит неразбегающегося неприятеля, не будет в состоянии овладеть даже пачкой». И снова припев, суровый и мужественный. Даже когда имперцы дойдут до Тосканы, «если вы не падете духом, вы можете спастись и, защищая Пизу, Пистойю, Прато и Флоренцию, добьетесь с ними соглашения, хотя и тяжелого, но во всяком случае не смертельного» \*.

«Не падай духом!» Папа именно пал духом и окончательно потерял голову. Во Флоренции паника. Генералы Лиги изобрели новую тактику. Они следуют за неприятелем сзади, на почтительном расстоянии. Гвиччардини, оставшись один, не в силах защищать Романью и Тоскану. Макиавелли уже в Форли вместе с Гвиччардини. Бурбон смело идет вперед, зная, что враг далеко в тылу и не опасен. Он остановился на скрещении римской и флорентийской дорог. Макиавелли пишет в Рим, к Веттори исступленное письмо, чтобы заставить папу выйти из апатии хотя бы в этот последний страшный момент. «Здесь решено, что если Бурбон двинется, нужно думать исключительно о войне и чтобы ни один волос не помышлял о мире. Если не двинется, думать о мире и бросить всякие мысли о войне». Он хочет определенности, а не виляний, которые погубили дело. «Хотя и надвигается буря, но кораблю нужно плыть, и, решив-

\* Lett. fam. 223, 5 апреля 1527, к Веттори.

пись на войну, нужно отрезать все разговоры о мире. Необходимо, чтобы союзники шли вперед, не думая ни о чем. Потому что теперь уже нельзя ковылять (*claudicare*), а нужно действовать по-сумасшедшему (*farea all'impazzata*). Ибо отчаяние часто находит лекарство, которого не умеет отыскать свободный выбор». И дальше слова трогательные и мудрые, которых не стоили ни папа, ни бездарные хозяева Флоренции: «Я люблю мессера Франческо Гвиччардини, люблю свою родину больше, чем душу. И говорю вам то, что подсказывает мне опыт моих шестидесяти лет. Я думаю, что никогда не приходилось ломать голову над такой задачей, как сейчас, когда мир необходим, а с войною нельзя развязаться, да к тому же еще имея на руках государя, которого едва-едва может хватить только для мира или только для войны» \*. Климента не хватало уже ни на что. Когда Никколо убедился, что ни у папы, ни у генералов не осталось ни искры мужества, он написал Веттори письмо, последнее из дошедших до нас, быть может самое трагическое, потому что оно — сплошной крик отчаяния. «Бога ради, так как соглашение невозможно — если оно действительно невозможно, — оборвите переговоры сейчас же, немедленно и сделайте письмами и доказательствами так, чтобы союзники нам помогли. Ибо если заключенное соглашение — верное для нас спасение, то одни переговоры, не доведенные до успешного конца, — верная гибель. И то, что соглашение необходимо, будет видно, когда оно не будет достигнуто, а если граф Гвидо это отрицает, то это потому, что он просто *cazzo*...<sup>43</sup> Кто живет войною, как эти солдаты, будет дураком, если станет хвалить мир...» \*\*.

Все было напрасно, ибо крепкое слово, которое Макиавелли на веки вечные выжег на безмозгом сиятельном лбу графа Гвидо Рангоне, было заслужено не им одним: оно столь же точно характеризовало и герцога Урбинского, и правителя Флоренции кардинала Пассерини, и больше всех его святейшество папу Климента VII.

Войска Лиги не торопясь шли сзади «армии Бурбона, а папа, беззащитный, дрожал от страха, сидя в Ватикане. 7 мая 1527 года тактика Франческо Мариа и графа Рангоне увенчалась блестящим успехом. Рим был взят одним ударом, и начался многодневный, неторопливый его разгром. Полководцам Лиги оставалось любоваться красивым заревом пожара Вечно-го города. Климент заперся в замке Св. Ангела, а Бенвенуто

\* Lett. fam. 225, 16 апреля 1527.

\*\* Lett. fam. 227, 18 апреля 1527.

Челлини, ставший главным папским пушкарем, ядрами весело отгонял от стен крепости осмелевших пьяных ландскнехтов. Гвиччардини истощил все силы убеждения, доказывая всем, что атака на занятых грабежом ландскнехтов обещает верный успех: красноречие его пропало даром. Генералы не двинулись. Флоренция при вести о римской катастрофе восстала и прогнала Медичи еще раз.

Никколо, которого эти события застали на фронте, собрался домой. Делать было больше нечего. Сверхчеловеческое напряжение, в котором он находился столько времени, которое давало ему ощущение полной жизни и морального очищения, кончилось. Крылья были сломаны. Впереди не виделось ничего. Спутники слышали, как всю дорогу тяжело вздыхал он, погруженный в невеселые думы. Во Флоренции вместо признательности за то, что было настоящим героическим подвигом, его ожидал провал его кандидатуры на старое место секретаря Коллегии Десяти. Торгово-промышленные классы злились на него за то, что он поступил на службу к Медичи, и не сумели понять, что, защищая Италию от испанцев, он защищал от феодальной реакции итальянскую и прежде всего флорентийскую буржуазию. Буржуазия, вернувшаяся к власти и восстановившая республику, отвергла величайшего своего идеолога. Это было последним ударом. Смерть пришла, как избавление, очень скоро.

Прошло три года, и сбылось все, что предвидел Макиавелли. Флорентийцам, которые не хотели драться в союзе с папой и Венецией против императора, пришлось драться одним против папы и императора. В 1527 году победа над Испанией могла быть сигналом к реформе в духе «Discorso sopra il riformar lo stato di Firenze» и открыть для флорентийской буржуазии возможность хозяйственного подъема. В 1530 году поражение республики привело к усилению медичейского деспотизма, подчинило Флоренцию сначала разнузданному господству мулата Алесандро, потом методической тирании Козимо, великого герцога, сына Джованни, убитого в 1526 году. И Козимо, друг и союзник испанцев, активный насадитель феодальной реакции, действовал «так, как говорится у Макиавелли в «Discorsi»: он выбирал из представителей прежней буржуазии «людей честолюбивых и беспокойных», давал им поместья, сажал на землю, заставлял переключать капиталы из промышленности и торговли в сельское хозяйство. Ибо ему нужен был между ним и народом класс, при помощи которого он мог осуществлять свое

господство: в точности так, как представлял себе дело Макиавелли в «Discorsi sopra il riformar lo stato di Firenze» \*.

Флорентийская буржуазия, как предсказывал Макиавелли, пала под ударами феодальной реакции, потому что итальянские государства, и сама Флоренция в том числе, в 1527 году не хотели «действовать по-сумасшедшему», чтобы изгнать «варваров» из Италии.

В 1530 году усилия Микеланджело, продолжавшего работу над укреплением Флоренции, там, где тупая скаредность Климента вырвала ее из рук Макиавелли, и героизм Франческо Ферручи, взявшегося за создание милиции, согласно указанию Макиавелли, опоздали ровно на три года.

## X

Если сопоставить огненные афоризмы «Il Principe», «Discorsi» и писем с тем, как Макиавелли действовал в год войны, он сразу предстанет перед нами другим человеком.

Он бросился в водоворот событий, связанных с войною, можно сказать, прямо с карнавала, едва успев сбросить с себя маскарадную мишуру и наскоро ликвидировав какие-то темные дразги, о которых флорентийские сплетники писали в Модену, Филиппо Нерли, бывшему там губернатором \*\*. Он сразу забыл обо всем: и о Барбере, и о планах постановки своих комедии в одном из городов Романьи. Он весь отдался делу, которое было — это вдруг стало для него ясно — делом всей его жизни. В нем он искал своего катарсиса, как герои греческих трагедии. С тою только разницей, что трагедия была не вымышленная, а самая настоящая. Карающий рок в виде армии Бурбона с гулом и грохотом приближался к Флоренции и Риму, более страшный, чем все Зевсовы перуны. Когда Никколо ознако-

---

\* См.: *Machiavelli N. Opere*. 1819. Vol. VI. P. 70: «Во Флоренции для установления единоличной власти... было, бы необходимо создать значительное количество дворян (*assai nobili*), с замками и поместьями, которые могли бы вместе с государем силою оружия и с помощью своего сторонничества (*aderenze loro*) держать в подчинении город и всю территорию. Ибо государь один, лишенный поддержки дворянства, не в состоянии нести тяжесть управления монархией: необходимо, чтобы между ним и народом (*l'universale*) был промежуточный слой, который помогал бы ему над ним господствовать».

\*\* Письмо Нерли напечатано: *Villari*. Vol. III. P. 430.

мился с актерами этой творимой трагедии, с папой Климентом, с герцогом Франческо Мариа, с графом Рангоне, со всей папской челядью в красных и лиловых рясах, он увидел, что положиться можно только на двух людей: на Джованни Медичи и на Франческо Гвиччардини. А когда погиб начальник «Черного отряда», он понял, что один Гвиччардини не может спасти положения. Если бы Макиавелли был прежним Никколо, он бы вернулся к Донато, к Барбере, к карнавалу, к хозяину остерии в Перкуссине, к замызганным лесным и полевым нимфам Альбергаччо: куда угодно. Но Макиавелли был уже другой. Под угрозой была родина, и он не мог, не мог физически, отстраниться от борьбы за нее, хотя знал, что она безнадежна. И кричал, что нужно действовать «по-сумасшедшему», и сам действовал по-сумасшедшему, убивая себя в бесплодных разъездах и бесполезных переговорах.

В истории редко можно встретить такую полную гармонию между словом и делом, какую являл в этот год Никколо. Он стал олицетворением *virtù* и навсегда остался для Италии — и не для одной Италии — учителем энергии, неумирающим примером того, как нужно и как можно действовать «по-сумасшедшему» в трагические моменты кризисов в государстве и у народа. Ибо у всякого народа и во всяком государстве бывают кризисы, когда только сумасшедшая энергия становится настоящим делом.

Энергия Макиавелли Италии не спасла. И не пришлось ему вложить в руки «*principè nuovo*» победный меч, повергающий в прах врагов итальянского единства. Теперь все кандидаты в *principè* были в лагере врагов единства, и само единство ушло в область несбыточной надолго мечты. Почему?

Потому ли только, что Климент был нерасчетливо скуп и поглупому труслив, потому ли, что ему не хватало ни ума, ни энергии, чтобы справиться с положением? Потому ли только, что герцог Урбинский и Гвидо Рангоне почти явно изменяли, а во Флоренции кардинал Пассерини путался и не знал, что делать? Или были другие причины, более глубокие, которых ни Макиавелли, ни Гвиччардини, едва ли не самые острые умы во всей Италии, не видели?

Конечно, будь на месте Климента VII Юлий II, будь во главе венецианских войск не герцог Урбинский, а Бартоломео Альвиани, будь во главе папской армии не Рангоне, а Джованни Медичи, Рим, быть может, не был бы взят. Но общего хода событий изменить было нельзя. Италия была обречена. Ее самостоятельное политическое бытие должно было надолго кон-

читься. Разница могла быть лишь и том, что в Милане сидели бы не испанские губернаторы, а французские. И причины этой неизбежной обреченности для Макиавелли и Гвиччардини были ясны лишь отчасти.

Макиавелли правильно указывал, что нужно для спасения Италии от «варваров». Единство и национальная армия. Единая Италия со своей армией, не зависящей от интересов отдельных тиранов, всяких д'Эсте, Гонзага, делла Ровере, подчиненной единой воле *principe*, была бы способна бороться с любой страной Европы как равная с равной. Ни то, ни другое не оказалось возможно.

Во-первых, милиция. Когда Кине говорит\* о роли Макиавелли в 1526—1527 годах, ему приходит на память французская революция: и Дантон, и Сен-Жюст, и Карно, и четырнадцать армий, и многое другое. Прекрасный повод для параллели. Почему французы могли выставить на фронт четырнадцать армий, а обширная Папская область и богатая Тоскана вместе не могли выставить даже одной? Гвиччардини, который знал свою Романью, совершенно определенно объявил, что вооружить население Романьи — значит снарядить вспомогательный отряд для императора, потому что половина населения провинции будет больше слушаться императора, чем папу, своего государя. Макиавелли с ним не спорил. Объявить то, что Французская революция называла *la levée en masse*<sup>44</sup>, в Тоскане было невозможно и по другой причине. Флоренция была полноправной госпожой, остальное население Тосканы было бесправно. Во Флоренции при Содерини всеми правами пользовались только около 3000 человек, при Медичи — раз в десять меньше. Остальные города: Пиза, Ареццо, Прато, Пистойя, Эмполи, Ливорно, все другие, все сельское население прав не имели. Флорентийская буржуазия не желала делиться властью ни с кем, хотя знала очень хорошо, какое царит из-за этого недовольство в городах и в деревне. Пиза лишь недавно была покорена после четырнадцатилетней войны. Ареццо бунтовал и отпадал от Флоренции. В Пистойе и Прато происходили волнения. Деревня была беспокойна. Дать всему этому населению оружие — не значило ли тоже подготовить подкрепление для императора или для французского короля? Опыт *Ordinanza* при Содерини, так позорно закончившийся в Прато, не давал больших поводов для оптимизма.

\* *Quinet E. Les révolutions d'Italie. 1848. Vol. II. Ch. 4.*

Макиавелли нигде в своих сочинениях не ставит вопроса, из-за чего армия сражается: не в каждом отдельном случае, а вообще. В «Discorsi» нет главы, посвященной анализу экономической основы римской военной мощи. В «Arte della guerra», в конце четвертой книги\*, речь идет о том, что должен делать полководец, чтобы заставить солдат идти в бой в том или другом сражении, и приводятся в сущности примеры, как генералы обманывали солдат или действовали на их суеверие, чтобы поднять у них дух. Под конец, однако, указывается, что лучшее средство пробудить в бойцах упорство — показать им воочию, что они перед альтернативой: победить или погибнуть. И говорится: «Это упорство возрастает вследствие веры в полководца и любви к нему, и любви к родине... Любовь к родине — чувство прирожденное (*è causato dalla natura*)». Любовь к родине, следовательно, учитывается, и было бы странно, если бы она не учитывалась: древние историки ведь говорили о ней без конца. Но нет ни малейшей попытки ее проанализировать. Солдаты Французской революции шли на врага, ведь тоже побуждаемые патриотизмом, *l'amour sacré de la patrie*, но мы знаем, что такое патриотизм революционных солдат. Французская революция дала третьему сословию равноправие и избавила его от королевской опеки, освободила крестьян от крепостного права и дала им землю и волю. Там не думали, что патриотизм — чувство прирожденное, и патриотизм создавали. Солдаты революции дрались за то, чтобы у них не отняли даров революции. Даже в самой Флоренции XVI века в разные моменты граждане республики относились к войне по-разному. При Содерини они шли в милицию, но сражались плохо. В 1526—1527 годах они трусили и не пошевелились, а в 1530, в последней борьбе против папы и императора, бились героически: потому что в последней республике ожила частица демократической души Савонаролы, и к власти были приобщены более широкие круги, чем при Содерини.

Макиавелли, конечно, не мог знать ни про Французскую революцию, ни про эпопею 1530 года. Но история итальянских коммун давала сколько угодно фактов, из которых при надлежащем анализе было нетрудно получить те же выводы. У Макиавелли их не оказалось, потому что его классовая настроенность затемнила столь ясный обычно его анализ.

Макиавелли не додумался до того, что патриотизм представляет собою тоже классовое чувство, что у разных групп насе-

\* *Machiavelli N. Opere. 1819. Vol. V. P. 308—309.*

ления одного и того же государства патриотизмы могут быть различны. Его классовая природа делала его патриотом флорентийским и общеитальянским, классовая природа романьольского крестьянина могла делать его патриотом и венецианским и даже имперским, а классовая природа пизанского жителя могла делать и делала его патриотом французским. Экономика Италии по причинам, которые уже указывались, не могла еще создать единого патриотизма, подобно тому как сделала это экономика Франции, разумно направленная монтаньярским Конвентом, в 1793 году<sup>45</sup>.

Макиавелли вводила в заблуждение его классовая идеология, классовая идеология представителя торгово-промышленной буржуазии, и он был склонен своим настроениям придавать характер общих. Он не подумал, что сначала нужно устранить неравноправность во Флоренции и на ее территории и заинтересовать в победе над врагом все население. А если и подумал, то не решился этого сказать, потому что знал, как это будет встречено его собственной группой, Точно так же Жиронда<sup>46</sup> не хотела дать крестьянам то, чего они требовали, и потому не могла по-настоящему организовать армию, пока была у власти.

И единству Италии мешала в конечном счете та же экономика. Если бы Венеция искренне, без страха пошла на союз с папой и Флоренцией в 1526 году, герцог Урбинский, ее кондотьер, не посмел бы держаться того образа действий, который привел Лигу к поражению. Но Венеция не могла не бояться Флоренции и особенно папы. То, что для Макиавелли, флорентийского буржуазного патриота, было спасением — вся программа «нового государя», — то для венецианского буржуазного патриота было катастрофой, ибо объединение Италии в условиях того момента означало для Венеции потерю самостоятельности и превращение из царицы Адриатики в провинциальный порт: меч «нового государя», разделавшись с мелкими, должен был обрушиться в первую голову на нее. Наконец, какими аргументами можно было заставить служить делу объединения этих мелких: Феррару, Мантую, Урбино, Сиену, Лукку и пр.? Ведь они должны были стать первой его жертвой. Ведь недаром Альфонсе д'Эсте посылал пушки Фрундобергу, Франческо Мариа, щадил ландскнехтов, а Федерико Гонзага старался их выручить. Если бы экономика Италии была благоприятна объединению, она бы сломила и местные сепаратизмы, и династические интересы тиранов, как сломила их в XIX веке. В XVI она для этого не созрела.

Вот почему в тот момент «из пламя и света рожденное слово», последняя глава «Il Principe», «“Марсельеза” XVI века», повисла в воздухе без отклика.

Цель, которую ставил себе Макиавелли, которой он добивался со всей страстью, стремясь к которой он раскрыл такие сокровища воли, темперамента и энергии, достигнута не была.

Ренессанс завещал задачу политического возрождения Италии Risorgimento, а писал его завещание Никколо Макиавелли.

